

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**9/2024**



## **В номере:**

### **Анна Иоановна по дороге в царствие небесное**

*По дороге на черноморский курорт маститый столичный литератор вместе с женой останавливаются у её брата в кубанской станице. И тут оказывается, что местный люд мастера слова и воспевателя земли русской не то что не читал — слыхом о нём не слыхивал. В довершение этого ужаса хозяйский петух набрасывается на него с сатанинским криком. Инженер человеческих душ сначала кричит «на помощь!», а потом, смертельно обидевшись и на петуха, и на хлебосольных станичников, не нуждающихся в его рассуждениях о роли культуры в их жизни, вынашивает план мести. Однако повесть Евгения КАМИНСКОГО «Поросёнок, петушок и весь этот ужас» вовсе не о том. Она о совестливости, о невольном предательстве, об ответственности — да хотя бы перед домашней скотинкой, «взятой для души» и во спасение от одиночества.*

### **«Непостижимой жизни знаки»**

*Поэт Андрей ФАМИЦКИЙ, находясь как бы «в предбаннике вечности», пишет о болевых точках современности и сострадании — «когда случись какой-нибудь теракт/и сердце соскребаешь со стены». В подборке Игоря КАСЬКО тоже тревога за будущее человечества, но и надежда, что, может, завтра «погаснет чёрная звезда./И свет вернётся. Мир воскреснет». Лирика Варвары ЗАБОРЦЕВОЙ посвящена Русскому Северу, с которым крепко связана духовным и кровным родством. Стихи Айгерим ТАЖИ из Казахстана о любви к родной Алматы и о детстве: «Бабушка читает сказку,/Вплетая нас, как бусины./Вискусное полотно».*

### **«Любая страна — это, конечно, люди»**

*Путевые заметки, пусть даже о коротком путешествии на отдых, читать интересно, если путешествующий автор — человек наблюдательный, думающий и к тому же ироничный. Такова Диана СВЕТЛИЧНАЯ, автор эссе «Страна фей и драконов».*

### **«Остались только первые слова»**

*«Нам уже не быть “простыми”, теми дорогими детьми природы, которые держат жизнь. Почему и войны стали так легки, “посторонни сознанию”, вроде политических представлений, словно и люди гибнут не впервой и кровь льётся не настоящая. Вообще жизнь как-то выходит “на поверхность” и делается “легче”, пустее. От этого всё чаще чувствуешь странную усталость и необъяснимое отчаяние». В рубрике «Жизнь в литературе» — «Двадцать пять бумажных писем» Валентина КУРБАТОВА Дмитрию ШЕВАРОВУ.*

### **Воздух. Время. Высохший океан...**

*...Молитва. Игра. Свечи. Полёт бабочки. Деревце вишни в цвету. Скрежет ржавого железа. Звуки скрипки. Зеркало, в котором отражаются тени убитого мира... «Планета Земля — это шар, покрытый пеплом и обломками» после атомных взрывов. Те, кто выжил, обустривают подземный город в фундаменте небоскрёбов. «Одно из заветных желаний молодёжи — это подняться на восьмидесятый этаж и с высоты последней площадки посмотреть на закат солнца». Маленький шедевр Тонино ГУЭРРЫ «Пепел» — цепочка миниатюр: древний эпос, стихи и кино, уложившиеся во вдох и выдох. Остерегающее послание из 90-х нам сегодняшним. «Золотые страницы “ДН”».*

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

## *Редакционная коллегия*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.07.2024.  
Подписано в печать 20.08.2024.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРОНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА  
Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Андрей ФАМИЦКИЙ. Грязное белое. <i>Стихи</i> .....	3
Евгений КАМИНСКИЙ. Поросёнок, петушок и весь этот ужас. <i>Повесть</i> .....	6
Варвара ЗАБОРЦЕВА. За красными гаражами. <i>Стихи</i> .....	39
Алексей ИВАНОВ. Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора. <i>Роман.</i> <i>Окончание</i> .....	42
Иван МАКАРОВ. Остановка каравана. <i>Стихи</i> .....	123
Николай КОНОНОВ. Простодушный балет, или Счастливая Люда. <i>Рассказы</i> ...	126
Игорь КАСЬКО. Мир воскреснет. <i>Стихи</i> .....	152
Макс НЕВОЛОШИН. Ты или я. <i>Рассказ</i> .....	155
Айгерим ТАЖИ. Раздвигая материю. <i>Стихи</i> .....	166
Артемий ЛЕОНТЬЕВ. Рассказы .....	170
Диляра ЮСУПОВА. Три оттенка красного. <i>Триплет рассказов</i> .....	178
Михаил МАЛЫШЕВ. Заказ. <i>Рассказ</i> .....	186
«Свой обретая взмах». Участники Мастерской АСПИР в Нижневартовске (2024) на страницах «ДН»: Максим СЕРГЕЕВ, Екатерина КАЛУГИНА, Мария АЛЕКСАНДРОВА. <i>Стихи</i> .....	194

**ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»**

Тонино ГУЭРРА. Пепел. <i>С итальянского. Перевод Алёны Панфиловой</i> .....	199
---	-----

**КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА**

Мухамметгулы АМАНСАХАТОВ. Единение со Вселенной .....	209
---	-----

**ПОЭТ О ПОЭТЕ**

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Речь о поэте ( <i>Владимир Салимон</i> ) .....	214
--	-----

**НАЦИЯ И МИР**

Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Страна фей и драконов .....	216
---	-----

**ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ**

Двадцать пять бумажных писем. <i>Валентин КУРБАТОВ — Дмитрию ШЕВАРОВУ</i> 223	
---	--

**NON-FICTION PRO**

Александр ЧАНЦЕВ. Разведчики безнадежности .....	248
--	-----

**БИБЛИОНАВТИКА**

Ольга БАЛЛА. <i>Ens philosophans (Р.Пирси. «Чтение как философская практика»;</i> <i>М.Эпштейн. «Память тела: рассказы о любви»;</i> <i>М.Эпштейн, С.Юрьенен. «Кульминация: О превратности жизни»)</i> .....	259
--	-----

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. Похороны режиссёра .....	268
--	-----

**НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ**

Репродукции картин, посвящённых 300-летию Магтымгулы Пырагы (Махтумкули)	
--	--

Андрей Фамицкий

## Грязное белое

\* \* \*

здесь, в предбаннике вечности,  
только пыль по углам,  
вещества человечности  
ни на гран, ни на грамм.

но пока на вселенную  
не выброшен платок,  
в дверь души тяжеленную  
бьёт поэзии ток.

\* \* \*

в гробу, обёрнутом рогожей,  
мы не сокровище везли  
в день сумеречный, непогожий,  
по мёрзлым пустошам земли.

шуршала весело солома,  
но сердце с нею не в ладу,  
и всё, от заступа до лома,  
долбило лежбище во льду.

когда-то нежился в овечьем  
пуху с красавицей женой,  
а вот — когда укрыться нечем —  
ты укрываешься землёй.

стенанием не осквернили,  
молчанием не вознесли.  
под толщей снега и земли  
мы Пушкина похоронили.

---

*Фамицкий Андрей Олегович* — поэт, переводчик. Родился в 1989 году в Минске. Главный редактор литературного портала Textura, сооснователь издательства «Синяя гора». Автор четырёх поэтических книг, среди них — «minimum» (М., 2020) и «Руины башни из слоновой кости» (М., 2024). Живёт в Москве.

\* \* \*

грязный белый, лежащий  
под ногами у всех,  
или чистый, ближайший,  
неоправданный снег,

или чёрное что-то —  
спрятать боли пласты,  
и застенки без счёта,  
и кресты, и кресты.

\* \* \*

соль земли, которую вымывает  
и уносит ветер её потом, —  
мой народ безвременно вымирает,  
вот и я щербатым стою столпом  
и смотрюсь — кривой соляной огрызок —  
в океан со всей его глубиной,  
всею силой держа, кто безмерно близок,  
по крупнице теряя, что было мной.

\* \* \*

мне осталось несколько урожаев,  
как сказал виноградарь, мой старый друг.  
в этом возрасте горестный Полежаев,  
став поэтом, не смог победить недуг.

что поэзия? что-то сродни чахотке,  
да и жизнью, как розгами, битый весь.  
если рифмы дрянь и слова нечётки,  
ты вином чернила уравнивай.

виноградных лоз я люблю прапамять,  
а ползущие строки лозе сродни,  
здесь подрезать, там — подвязать, поправить,  
а вино и с истиной не сравни.

\* \* \*

эпохи русского модерна  
качалось кресло, и поэт,  
сидящий несколько модельно,  
прожжённый жизнью, прожёт и плед.

попробуй доберись до кожи!  
но к дуновенью ветерка

прибавилась внезапно всё же  
и масскультура матерка.

и попугай в огромной клетке  
увидел, как от сих словес  
к поэту милые музетки  
вотще спускаются с небес.

## амфора

менады пляшут с этой стороны  
но что нам в обнажённых их телах  
когда случись какой-нибудь терракт  
и сердце соскребаешь со стены

учёные собрали черепки  
и склеили как будто но взгляни  
на сторону которая в тени  
так я смотрю в свои черновики

\* \* \*

художник далее холста,  
но гробовщик — не дальше гроба:  
ему застлала красота  
того, на что он смотрит в оба.

он тоже взят на карандаш  
тем, кто сокрыт за свой треножник,  
и кровь течёт, а не гуашь.  
а ты живописуй, художник.

\* \* \*

*Ф. Чечик*

Толстой тачает сапоги  
а Фет изнашивает падла  
сегодня встал не с той ноги  
но сочиняет складно правда

*а уж от неба до земли  
качаясь движется завеса  
и будто в золотой пыли  
стоит за ней опушка леса*

заблещет солнце он опять  
на полдороге до сарая  
начнёт по кругу топотать  
искать слова каблук стирая

потом приходит старый чёрт  
каблук исчез подошва стёрта  
но в рифму истину речёт  
(ты тоже накопал до чёрта)

лишь смерть а не Шеншин лишит  
стихов и прочих несуразиц  
но и Толстой не лыком шит  
уж он прочтёт ему рассказец

Евгений Каминский

# Поросёнок, петушок и весь этот ужас

Повесть

Анна Иоанновна впервые за два месяца проснулась в своей постели. Ох и намучилась же она по чужим домам, ох и натерпелась! Ночью на станции — будь что будет, и денег не жалко, всё равно всех не заработаешь — взяла такси, чтобы не сидеть до первого автобуса в обществе подозрительных личностей, которые если не беспрестанно кашляли в зале ожидания, то яростно чесались, и от них тянуло чем-то тошнотворным.

Таксист, выбранный ею из нескольких, трущихся на вокзальной площади, караулящих клиента с ночного поезда — не толстый и не тонкий, не большой и не маленький, с печёной картофелиной вместо лица, с золотыми зубами и ухмылкой ушкуйника, — сделал рожу, когда Анна Иоанновна, поджав губы, скостила треть от запрашиваемой им цены, но согласно мотнул головой, поскольку остальные ушкуйники, столь же золотозубые и сплошь с картофельными физиономиями, могли и за такую плёвую сумму перехватить у него бабу-клиента. Лениво махнув Анне Иоанновне на заднее сиденье, он запустил двигатель и, проревев всю округу дырявым глушителем, повёз к дому. А по дороге не убил её и даже не ограбил.

Слава Богу за всё!

Почему, собственно, Анна Иоанновна, а не просто Анна Иванна? Что это за фокусы от одинокой простой женщины?!

Ну да, была такая Анна Иоанновна, российская императрица, в восемнадцатом веке, черноволосая, в теле, немного на рыбу похожая, если, конечно, верить кисти Луи Каравака. Жила какое-то время (считанные денёчки!), семнадцатилетняя, со своим владетельным супругом, герцогом Курляндии и Семигалии, Фридрихом Вильгельмом в качестве *вашего высочества покорнейшей служящей*. Однако герцог дал дуба с похмелья на пути в Курляндию. Накануне курляндский Фридрих соревновался с русским Петром Первым в *искусстве питья*. Мол, кто тут на самом деле первый. Но что русскому хорошо, то немцу смерть, и против этого не попрёшь...

Но где русская императрица, а где Аня, в девичестве Коровкина?!

---

Каминский Евгений Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Лауреат премии Гоголя (2007) и множества литературных конкурсов. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 7.



Нет, императрица тут ни при чём. Просто Анна Иоанновна как однажды воцерковилась, так и стала, опустив глаза, требовать от окружающих впредь звать её только по-христиански — Анна Иоанновна. К тому же очень ей нравился апостол любви Иоанн Богослов на иконах; вроде бы и в летах, а ещё не старый и какой-то нежный. Эх, если б только жила она в те времена, что и апостол, и была иудейкой, то непременно посвятила бы свою жизнь этому Иоанну: стирала бы ему, шила и штопала, готовила и прибиралась в келье. А если б, скажем, была самаритянкой, то и тогда посвятила бы ему жизнь, хоть и не без трудностей в силу ограничений, чинимых ревностными иудеями. Не очень-то иудеи жаловали самаритян, хотя, конечно, так просто, за здорово живёшь, камнями никого из них не побивали. Только за дело, чтобы впредь неповадно было.

Все эти новые для себя мысли Анна Иоанновна вынесла из чтения Священного Писания и проповедей молоденького отца Виталия.

Наконец-то всё в жизни Анны Иоанновны было так, как она привыкла. Во-первых, она вновь находилась в своей комнате с низким потолком и упорно лезущим из всех щелей запахом прошлого счастья, с массивным, как сторожевая башня, шкафом, когда-то при перестановке застрявшем в одном из углов комнаты да с тех пор так и стоящим там насмерть, с дубовым столом, пропитанным пролитыми борщами, тремя венскими стульями с манерно изогнутыми ножками, диссонировавшими со строгой обстановкой христианского жилища, но так уж пожелала сама Анна Иоанновна: их изящное кокетство было необходимо этому дому, чтобы тот не походил на казарму. Здесь всё-таки жила женщина со вкусом, а не какой-то старший прапорщик. Во-вторых, всё тот же лунный свет лился в комнату из мутноватого окна. В-третьих, те же звуки, бог весть каким тварям принадлежащие, прокрадывались в дом со двора, наполняя сердце Анны Иоанновны трепетом и надеждой на то, что жизнь, может, уже сегодня навсегда изменится к лучшему.

Но чего-то Анне Иоанновне не хватало сейчас. Чего-то существенного, давно укоренившегося. Анна Иоанновна пошмыгала носом, поморгала, стряхивая слёзы с ресниц и вспоминая, что было вчера и что должно быть сегодня, и наконец поняла: не хватает забот по хозяйству, о которых она думала последнее время и к которым, как ни странно, ехала в поезде ночь, день и ещё часть ночи, торопя время и наполняясь предвкушением. Поняла и испугалась, что своим, по сути, преступным бездействием может загубить невинные души. Однако тут же успокоилась, поскольку вспомнила: эти души сейчас под присмотром соседей.

Хотя какие могут быть души у домашней птицы и поросёнка?!

На том, что у животных нет души, настаивал отец Виталий, молодой человек из Москвы, богатырь, красавец и умник.

Да как же нет души, как же нет, когда всякая тварь, и особенно поросёнок, смотрит на тебя порой так разумно, что плакать хочется?!

Тут отец Виталий, конечно же, важничал, говоря по-городскому, богословствовал, полагая, что паству следует подучить уму-разуму. Мол, иначе кто таких дураков после их кончины возьмёт в Царствие Небесное на веки вечные, пусть даже все эти люди — сплошь святой жизни?! С ними же стыда там не оберёшься!

С головы до пят городской, образованный, с хорошенькой матушкой, на шее у которой под шёлковым платочком Анна Иоанновна как-то разглядела ящерку — невинную наколку, которую матушка, видимо, по просьбе своего дражайшего супруга прятала от прихожан, боясь их осуждения, он, разумеется, ошибался насчёт животных.

Особенно насчёт свиней.

«Не знает он нашей христианской жизни и наших забот не ведаёт! — оправдывала непримиримую твёрдость своей позиции Анна Иоанновна. — Есть душа у всякой твари Божьей. И у свиньи есть, и у петушка есть. Как же не быть?! Не может не быть. Просто душа животного не той породы и немного меньше человеческой...»

Ещё в конце июля Анна Иоанновна вместе с поросёнком копала раннюю картошку у себя в огороде. Анна Иоанновна лопатой, а поросёнок пяточком и копытцами. Такой труженик оказался! И ведь поровну накопили — по два ведра каждый. Розовый и упругий — Анна Иоанновна всегда уточняла: «ухоженный» — поросёнок, похрюкивая, выталкивал из земли спелые клубни и подкатывал их пяточком к общей куче. При этом поглядывал на Анну Иоанновну: вот, мол, какой у тебя работник! И та нарадоваться не могла на своего работника. Потом поросёнок веселил Анну Иоанновну уже в доме: прытко разгонишься в коридорчике и влетал в комнату, скользя на своих копытцах, как на коньках, и молодцевато глядя на Анну Иоанновну, мол, как тебе, Анна Иоанновна, такой номер? И та, растроганная, сгребала поросёнка в охапку, прижимала его, визжащего от радости, к своей обширной груди и плакала, благодарная Богу за то, что Тот послал ей сего утешителя.

Однако именно в те дни душевной радости и умиления жизнь и судьба выдвинули Анне Иоанновне ультиматум и поставили перед выбором, как поступить с живностью: продать на мясо или же отдать на сохранение, поскольку самой Анне Иоанновне надо было срочно ехать на окраину Москвы на выручку дочери, где та уже несколько месяцев мыкалась по съёмным квартирам в попытках зацепиться за цивилизацию. И, используя для этого своё молодое крепкое тело, доиспользовалась.

Теперь беременная дочь лежала в больнице с переломами лучевых костей, кусала локти и сигнализировала матери о катастрофе. Анна Иоанновна, собираясь к дочери, не представляла, сколько пробудет на окраине Москвы — может, месяц, а может, год. Если месяц, то живность стоит сдать под чей-то присмотр.

А если год или больше?

Решение пришло к ней вместе с соседом Виктором, явившимся купить у Анны Иоанновны по скромной деревенской цене куриных яиц в дополнение к тем, что уже прикупил у владельцев ближайших хозяйств для продажи в областном центре по уже вполне городским ценам. И Анна Иоанновна вместе с яйцами передала соседу на постой всю свою живность с заверениями забрать её назад, если только вернётся от дочери в обозримом будущем. Ну, а если обстоятельства не позволят, то тогда, конечно...

Да что об этом говорить? И так ясно.

Платой за постой птицы будут снесённые курочками яйца.

— Сам видишь, какие у меня несушки! В яйцах по два желтка! А петушок — просто зверь! Ну, в этом самом смысле, — заявила она и неожиданно для себя подмигнула Виктору.

Правда, поросёнок яйцности не мог, к тому же ел за троих. Потому Анна Иоанновна обязалась заплатить соседу по возвращении живыми деньгами за привес поросёнка.

— И, конечно, в городских ценах. Не обижу! — добавила она после того, как сосед, взвесив поросёнка, принялся говорить ей о какой-то «упущенной выгоде».

Кур Анна Иоанновна завела давно, сразу после смерти мужа, чтобы заполнить бездну одиночества громадём неотложных дел, а поросёнка — аккуратно после отъезда дочери за личным счастьем в Москву. Всем говорила, что берёт «борьку» на мясо, а сама взяла его для души. И пока поросёнок был маленький, визгливый, с нежнейшим пяточком, ходила за ним как за собственным младенцем.

После того, как на таких христианских условиях определила свою живность на постой, Анна Иоанновна сдала свою бухгалтерию директрисе, взяла расчёт и покатила на окраину Москвы с неподъёмными сумками, набитыми копчениями да соленьями.

При прощании с Анной Иоанновной ни куры, ни глазастенький петушок, всегда восхищавший хозяйку своими производственными показателями, не проявили ничего душевного, хотя та погладила каждую курочку, а петушка ещё и приголубила, стиснув горячими ладонями и прижав к сердцу. Птицам было не до неё — при обстоятельствах непреодолимой силы они вливались в шумный пернатый коллектив, и каждый вливавшийся был обеспокоен вполне реальной перспективой оказаться на задворках и сосать лапу у разбитого корыта.

Поросёнок же, напротив, очень сердечно распрощался с Анной Иоанновной. Дал ей обнять себя и посмотрел в глаза с лёгким упрёком: мол, что ж ты, Анна Иоанновна, бросаешь *свою дружка*? И ещё что-то было в поросёных глазах, что-то тревожное, и Анна Иоанновна даже засомневалась: не грех ли оставлять милого друга чужим людям?

Сосед от души смеялся, наблюдая, как Анна Иоанновна, словно с сыном-солдатом, прощается с поросёнком. При этом сосед (настоящий хозяин!) не мог не прикидывать, сколько десятков яиц сможет получать от птицы Анны Иоанновны ежемесячно, и как быстро будет тучнеть её боров.

Жизнь Анны Иоанновны на окраине Москвы текла хлопотно и нервно и по-человечески не складывалась. Почти всё жизненное пространство здесь заполняли громкоговорящие на тарабарском языке азиаты, словно пришельцы из космоса, живущие параллельной, неопрятной и не понятной Анне Иоанновне жизнью, да наглая молодёжь обоих полов, вечно лакающая что-то из банок и сквернословящая хуже пьяной деревенщины.

С переломанными костями беременная дочь Анны Иоанновны желала по выздоровлении непременно сделать аборт, чтобы отомстить и равнодушной Москве, и всему белому свету за боль и унижения, доставшиеся ей вместо комфорта и удовольствий. В общем, убить в зародыше дитя азиата, который использовал её по мере надобности, а потом взял да и переломал ей кости за какие-то прегрешения против Всевышнего. Полиция искала её ухажора, но без энтузиазма: мол, объявлен в розыск, но наверняка сейчас где-то там, в чайхане возле арыка, громко рыгая, ест руками плов.

Дочь Анны Иоанновны мстительно нацеливала своё чрево на аборт, и Анна Иоанновна не могла понять, в результате чего из её кровиночки, в отрочестве не выходящей из церкви, с сердечным жаром помогавшей там мамочке мыть полы, получилась вполне современная стерва с наколками по всему телу и чёрной завистью к чужому счастью. Вот именно стерва, для которой комфорт важнее Бога.

Анна Иоанновна перебирала, как чётки, этапы своей жизни, пытаясь вычислить переломный момент, когда ангел переродился в чертовку. И вычислила: как-то в чистый четверг та вдруг отказалась красить вместе с матерью яйца и накрашила себе губы...

Да что теперь убиваться! Былого не вернёшь, настоящее не переделаешь, и надо только молиться о том, чтобы дочь не сделала аборт. А родится ребёнок, взять себе и растить его христианином.

При расставании Анна Иоанновна молча протянула дочери довольно значительную сумму подъёмных. И дочь тут же сменила свой брызгливый тон на вполне офисный, предельно лицемерный, словно говорила не с матерью,

*Варвара Заборцева*

## За красными гаражами

\* \* \*

Белое поле и чёрные лошади,  
Брошены лошади старым хозяином,  
Скоро покроются лошади инеем,  
Будет сложнее найти.  
Ходят и ходят огромные лошади,  
Поле, конечно же, тоже огромное,  
Места хватает, а зелени мало им,  
Только под снегом искать.  
Ищут на поле траву прошлогоднюю,  
Снятся мне лошади, белое поле их.

Было не поле то, речка замёрзшая.  
Снится, как лёд понесло,  
А лошади больше не снятся.

\* \* \*

*Аману Рахметову*

Я раньше не знала  
Что в мире есть иной горизонт  
Водоносный  
Он лежит себе под землёй  
И лежал бы долго лежал  
Только он говорят падает  
Ниже и ниже  
Воде не так-то легко  
Схватиться за корни

---

*Заборцева Варвара Ильинична* — поэт, прозаик, искусствовед. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургскую Академию художеств имени И.Репина. Публиковалась в журналах «Звезда», «Урал», «Новый мир» и других. Лауреат премии «Лицей» (2023). Участница семинаров фонда СЭИП и мастерских АСПИР. Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Если совсем упадёт  
Родники пересохнут  
И где полоскать бельё  
Мыть яблоки  
Пить с ладони

Я стала носить ведро  
Снеговой воды  
Каждый апрель  
К ближайшему роднику  
Набираю руками  
За красными гаражами  
С линии горизонта  
Который ещё не падает

### *Чёрные валенки*

Где были сосны, поля и родник,  
Намертво в землю вырастает гранит.  
Видится не обречённость,  
Это, скорей, обрётённость  
Места в своём лесу.  
Пускай земляки несут  
По свежему снегу в апреле.  
Валенки только чернели:  
Тёти и дяди, сёстры и братья.  
Шествие наше сильнее объятий.  
Утром по разным вокзалам.  
Бабушка тихо сказала:  
«Чёрные валенки ты сохрани,  
Вам ещё вместе отцов хоронить».  
Зимы бессрочные, лето неточное,  
Бьётся о сосны апрельское солнце.  
Валенкам место в сарае найдётся.

\* \* \*

Не книга, а труха в обложке:  
Поля и буквы нараспашку,  
И вдруг — засохшая ромашка,  
Белёсая, жива.

Ищу ромашки полевые,  
И крошатся в руках страницы,  
Им, кажется, не сохраниться  
И слово не сберечь.

Скорей бы в поле, чтобы книгу  
Забить засохшими ромашками,  
Пускай вырастают вверх тормашками  
И лепестками вверх.

\* \* \*

Мама с коляской идёт по мосточкам.  
Дочка в одной руке.  
Кажется, Света вернулась в посёлок.  
Вернулась, пока налегке:  
— *Здесь хорошо мне, родители, речка.*  
*Не знаю, пока поживём.*  
Коляска застряла в дырявых мосточках.  
Быстро достали вдвоём.

За разговорами *печки, охапки,*  
*Надо оно или нет.*  
Каждому встречному разве расскажешь  
Маму в родном окне.

Света с коляской ушла по мосточкам,  
Дочка в одной руке.  
А я с пустыми руками  
По тем же мосточкам —  
К маме.

*Алексей Иванов*

# Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора

*Роман*

## *Глава 19*

— А тут и думать нечего, — Елагин с Гором сидели на тёплой веранде и пили чай с мёдом, — не зря Анна Андреевна сказала про судилище: «Делают рыжему биографию!» — Гор хрустел любимыми подсолёнными сухариками. — Так ведь?

Он повернулся к жене, Наталье Акимовне. Та стояла возле плиты, сцепив руки на животе.

— Нам Толя Найман рассказывал, — подтвердила она. — Зашёл денег занять, сидел вот так, как вы, всё на улицу поглядывал.

— Толя боялся, что за ним следят! — пояснил Гор.

— И действительно следили?

Елагин покосился в окошко. В него была видна почти вся дачная улочка.

— Не знаю, — пожал плечами Гор. — Кому они нужны были?

— Следили, следили, — перебила Наталья Акимовна. — Они как раз собирались к Иосифу на Север ехать. А денег-то нет! Вот он к нам и пришёл.

— С девицей, — засмеялся Гор. — Он, может, и выглядывал в окно, — не ушла ли она? А потом придумал насчёт слежки!

— Он и верно, придумать мог, — поддержала Наталья Акимовна. — Но что следили — это точно!

— Мне даже Женька Воеводин жаловался, — снова хихикнул Гор, — что за ним тоже кто-то ходит! И тоже за деньгами приходил. — Гор забавно скривился. — Может, видения ему были? Померещилось? Всю жизнь, сколько знаю, пьёт. Сначала с отцом своим на пару...

— Тот до белой горячки допился, — вставила Наталья Акимовна. — А уж после отца Женька и вовсе без удержу... — Она долила жидкого мёда в розетки, с удовольствием облизала ложку. — Но деньги всегда отдаёт, это верно.

— Теперь жену спаивает. — Гор, жмурясь, пил горячий, как он любил, чай.

— Та и сама не дура выпить. — Наталья Акимовна присела бочком к столу. — Помнишь, она к нам приходила ещё до Женьки до всякого, а от рюмки

не отказывалась. — Я тогда на рябине настаивала, — кивнула она Елагину, — вкусно получалось!

Речь шла о Евгении Воеводине. Точнее — о процессе, суде над Бродским, на котором Воеводин выступал обвинителем со стороны Союза писателей. Воеводин утверждал, что его подставил Гранин.

— Вот он здесь, на месте Гдалика, сидел, — Наталья Акимовна, служившая когда-то домработницей у родителей Гора, называла его по-прежнему Гдалик, — всё плакался! Проходу, говорил, нету! Гранин вовремя соскочил, а Женька по дурасти попался!

— Гранин тогда секретарём Союза был. По молодёжи, — пояснил Гор. — И Женька попался вовсе не по дурасти, — он посерьёзней, что бывало с ним не часто. — По подлости своей попался. Хотел услужить...

— Гранину, что ли? — с вызовом спросила Наталья Акимовна.

— Молоху! И Гранину в том числе! Женька в секретари Союза лез, сам мне говорил, — поморщился Гор, — вроде советовался, — он помолчал. — Я ему прямо сказал: ты, Женя, советоваться пришёл не по адресу. Я в начальники не лез и никогда не лезу. Не для писателей это...

— А зачем рекомендацию ему в Союз давал? — съязвила Наталья Акимовна.

— Пишет он не хуже и не лучше других, — задумчиво ответил Гор. — Таланта нет особого, а рука есть. Таких, как он, писателей — пруд пруди. Возьми Глеба Горышина, Вильяма Козлова, не к ночи будь помянут, да хоть и Гранина. Ум есть, — он усмехнулся, — рука тоже, а таланта Бог недодал. Пожалел!

— Он талант свой на хитрожопость променял! — брякнула Наталья Акимовна. — Что ты хмуришься? Или я не права?

— Не нам судить. — Потянулся за мёдом, капнул жёлтую каплю себе на грудь и принялся тереть её салфеткой. — Но в этой, как Наталья Акимовна сказала, хитрожопости он, и верно, преуспел. Тут Гранин чемпион! — Гор вдруг засмеялся.

— Что смешного-то? — не поняла Наталья Акимовна.

— Я представил вдруг соревнования по хитрожопости! — Он вытер салфеткой глаза. — Забег, как у спортсменов!

— И все с голыми жопами! — поддержала мужа Наталья Акимовна.

— Это как в тридцать каком-то году было, — хитро заулыбался Гор. — Вы Ивана Уксусова знаете, Костя?

— Да, конечно! Иван Ильич! Он мне показывал разворот «Комсомолки», кажется, или даже «Правды», я на фото не рассмотрел, там дискуссия: «Уксусов или Золя? Роман “XX век”!»

— Да, — кивнул Гор, — помню я эту дискуссию. Шум тогда подняли невероятный! Уксусов в героях ходил, костюмчик сменил, пальто драповое завёл, кепи по моде! Роман перевели на датский язык, на немецкий, сам Андерсен-Нексе предисловие написал!

— Андерсен-Нексе? — удивился Елагин.

— Ну да, — подтвердил Гор. — А что вы удивляетесь? Он же основатель ихней датской коммунистической партии! Зато Ваня Уксусов денег кучу заработал, — Гор вздохнул. — Но не в коня корм. Ваня — человек... — задумался Гор, — человек страстный. Он тут же начал, через переводчиков, конечно, ни одного языка не знает...

— И русского тоже! — вставила Наталья Акимовна.

— Начал Ваня переписываться с иностранцами. Помню, я его письмо Анне Зегерс переводил, — Гор засмеялся. — А после он пришёл с письмом Майклу Голду, американцу, — Гор, похуже, развеселился по-настоящему. — Я ему говорю: не знаю, мол, английского, плохо знаю. А он пристал...

— Не хотел переводчикам платить! — прокомментировала Наталья Акимовна. — Гор-то всё за бесплатно делал!



— Да, это верно. — Они, как всегда, говорили на два голоса. — Но я ему в шутку, конечно, говорю: могу ему на идише написать! А Ваня Уксусов первейший антисемит! Тот: как на идише? Я: Майкл Голд — это псевдоним, а на самом деле он Ицик Гранич. Он просто обалдел!

— Его переводчики-то и подвели, настучали! — Наталья Акимовна извлекла из духовки ватрушки и поставила на стол.

— Да, — закивал Гор, — вlepили ему статью! Что-то года на три его упекли. — Он задумался. — А тогда никому меньше десятки не давали.

— Так он же ихний был, свой, мне жена писателя Финна говорила, он тоже с этими, — Наталья Акимовна махнула рукой куда-то вверх-вбок, — связан был.

— Не знаю насчёт этого, не знаю, — покивал Гор. — Но вышел скоро, это точно. Да и там, говорят, не бедствовал, — сказал Гор и занялся ватрушками.

— Не любит Геннадий Самойлыч про те времена вспоминать, — сказала Наталья Акимовна, поглаживая мужа по седому ёжику. — Его ведь и самого-то чуть не... того... — она говорила про мужа, словно его не было.

— Мы с чего начали, — Гор вздохнул, отбрасывая тяжёлые воспоминания, — с Женьки Воеводина. Он ко мне пришёл, письмо знаменитое принёс, что-то вроде характеристики на Бродского. Смотрите, говорит, вот оно, всё исчерканное правками. Гранина руку узнаете? Я посмотрел, вижу, — Данилы правки. Я-то уж его почерк отличу!

— Данила-то после всё на Женьку переложил! Будто бы он письмо это, характеристику, и не писал.

— Да-а, — подтвердил Гор. — И на заседание суда не приехал. Женьку послал.

— Не послал, — не удержалась Наталья Акимовна, — а сказал, мол, ты поезжай, я позже приеду. Женька-то всё его ждал, дурак! — Она салфеткой утёрла губы мужу. Тот покорно сидел, по-детски зажмурившись. — Уже суд идёт, Женька сам рассказывал, сидел вот тут, вроде тебя, Костя, на гостевом стуле, — Наталья Акимовна положила тяжёлые руки на плечи Гору. — Суд, рассказывает, идёт, а я всё на двери смотрю, Гранина жду. А судья говорит: кто из Союза писателей обвинение представляет? Женька тут и вскочил: я! — Она горестно, по-бабьи, покачала головой. — Зачитайте, это судья говорит, характеристику! Вот он и вляпался! Получилось, что характеристику-то будто бы Женька один писал, без Гранина, без комиссии...

— Да уж, вляпался так вляпался, на всю жизнь! Теперь как Иосифа вспоминают, все сразу: «А, это когда Воеводин на процессе обвинителем был!» — Он повернул голову и прижался на секунду к руке жены. — Был какой-никакой писатель, а по дурости да подлости стал обвинителем! — Гор помолчал и потихоньку заулыбался. — Это как с Ванькой Уксусовым. Только с тем перемен побольше было. Сейчас-то кто его роман «XX век» вспомнит? Все помнят только фразу знаменитую: «Коза закричала нечеловеческим голосом!»

— А эту ещё, вторую-то! — напомнила Наталья Акимовна.

— Да-да, — засмеялся Гор. — Тоже фразочка хороша. Что-то вроде: «Над городом поблёскивает шпиль Адмиралтейства. Он увенчан фигурой ангела в натуральную величину...»

— Ты главное-то расскажи! — Наталья Акимовна, всё ещё стоя за спиной мужа и смеясь, потрепала его по щеке. — Насчёт «все как один»!

— А-а, — вспомнил Гор. — Ванька, я уж говорил, человек страстный! Он искренне считает, что он гений. Искренне считает, что если бы не евреи, то всё бы в мире пошло по-другому, искренне верил, не знаю уж как сейчас, в советскую власть... А в тридцатые годы мода пошла такая: всех в противогазы наряжать. К газовой войне готовились. Вот Ванька...

— А он тогда заикался здорово, не знаю, как вылечился. Сейчас вроде меньше мекает...

— Да-да, — подхватил Гор, — он на собрании писательском выступает, я уж забыл, то ли перед Первым мая, то ли на Седьмое ноября? Обсуждали, тогда это обязательно было, как пойдёт колонна ленинградских писателей на параде, на Дворцовой площади...

— Тогда площадь Урицкого была!

— Да-а, — Гор заранее принялся хихикать. — Сидим, всякую чушь слушаем, вдруг Ванька Уксусов, заика, вскакивает и со всей страстью кричит: «Н-надо поддержать инициативу ленинградских рабочих, к-которые на параде пойдут в про-про-ппротивогазах. Я, говорит, предлагаю, чтобы все пи-пи-писатели прошли колонной и все к-как один, к-как один в ппро-ппро-презервативах!»

## Глава 20

Марка Масарского Елагин встретил у Шарымова. Тихоголосого, скромного Маркушу Шарымов именовал Витаминаычем. От отчества, конечно, — Вениаминыч. Как москвич Масарский попал в дом к Шарымову, Елагин уже не помнил. Осталось в памяти ночное гулянье по Ленинграду. Худошавый, быстроглазый Маркуша был неутомим в рассказах о знаках и тайнах масонского Петербурга. Марк тогда увлекался историей масонства. Белой ночью масонские символы и идеи особенно впечатляли.

— В нашей пропаганде хуже масонов только фашисты, — они вышли с улицы Пестеля к Фонтанке и обошли мрачный и тяжёлый Инженерный замок. Марк то и дело указывал Елагину на масонские знаки: всевидящее око в картуше, перекрещённые циркули, наугольники. — Я хочу пройти, — Масарский первый раз был в Ленинграде, — по знаменитому треугольнику: Невский проспект, Казанская улица, Гороховая. Это мало кто знает, — Марк ориентировался в незнакомом городе, будто давно жил в нём, — но Петербург единственный город в России, который строился по плану. Знаменитый Леблон с Домеником Трезини, масоны высокого градуса, постарались. И вот этот треугольник — Невский, Казанская, Гороховая, — главный масонский знак, лучезарная дельта, всевидящее око!

— Думаешь, ВЧК со страшными расстрельными подвалами на Гороховой 2 — это тоже неслучайно? В самом центре масонского символа?

— Скорее всего — да, не случайно ВЧК «всевидящее око» — согласился Марк.

Они подходили к мрачному зданию бывшего Управления Петербургского градоначальника.

— Я почему-то не могу спокойно ходить мимо этого дома, — заметил Елагин, — на душе, как говорится, кошки скребут. Будто голоса замученных слышатся. Из знаменитых чекистских подвалов.

— Да, — согласился Марк, — зданье непростое. Тут Вера Засулич пульнула в живот градоначальнику Фёдор Фёдоровичу Трепову, а до того сюда привозили на допрос и Кондратия Рылеева, и Блока, и Гумилёва, да мало ли кого!

— Вырубову, Коковцева, Пунина, — поддержал его Елагин.

— Пойдём к Александрийскому столпу, там тоже лучезарная дельта должна быть на пьедестале. — Марк оглянулся и уверенно двинулся к Дворцовой площади. — Как без неё на памятнике Александру, масон был известный. Хоть и не такой истовый, как папенька его, Павел.

От Дворцовой перешли по мосту через Неву, свернули по набережной. Кунсткамера, Университет, Меншиковский дворец...

— Я всю жизнь мечтал посидеть ранним утром, на рассвете на этой набережной, — мечтательно сказал Масарский. — Возле сфинксов. Кстати, на фронтоне Академии художеств полный набор масонских символов.

Елагин отметил про себя, что провинциальный интеллигент Масарский знает историю города и масонства получше, чем он, ленинградец. По замершей в неверном

небесном свете Университетской набережной светился только кораблик на шпигеле Адмиралтейства, подошли к сфинксам. Масарский внимательно, как старых, давно не виденных знакомых, рассматривал их, гладил шершавый гранит.

— Жаль, нету фотоаппарата, — он оглянулся на Елагина. — Спуск четырнадцать ступеней, — проговорил он, — это я запомнил с самого детства. Лежал больной и смотрел книгу о Петербурге. Четырнадцать ступеней! — И, считая, — раз, два, три, — стал спускаться к воде.

Она пришла из дикой дали —  
Ночная дочь иных времён.  
Её родные не встречали,  
Не просиял ей небосклон.

Но сфинкса с выщербленным ликом  
Над исполинскою Невой  
Она встречала с лёгким вскриком  
Под бурей ночи снеговой.

— Это Блок, — сказал, не оборачиваясь, Масарский, — «Снежная дева». — И замолчал, глядя на блёкло-серую, словно стоячую, воду Невы. — Даже удивительно, как вы, ленинградцы, не любите, не цените свой город. Я в детстве после войны — голодовка! — болел много, лежал то в больницах, то дома и придумывал путешествия по городам. Любимыми были три: Рим, Санкт-Петербург и Венеция. Я собирал о них все книжки, какие можно в провинции достать, читал, рисовал маршруты, по которым хотел бы путешествовать. И вот мы с тобой гуляем там, где я мечтал побывать. Смеёшься? — повернулся он к Елагину. — Нет? Здесь, на Васильевском острове, в Академии художеств зарождалось русское масонство, без которого Россия никогда не стала бы европейской страной. Бортнянский, создатель русской духовной музыки, Левицкий, Боровиковский, Новиков-просветитель — издатель тысяч книг, немыслимое по тем временам число, в ложе «Овидий» состоял Пушкин, масонами были Грибоедов, Чаадаев, Мицкевич, Пётр Андреевич Вяземский, великий физик Яблочков, изобретатель «русского света», первый русский человек, популярность которого можно сравнить только с популярностью Гагарина, лучший историк Василий Васильевич Ключевский. Военные — от генерал-фельдмаршала Мордвинова, к Суворову, Кутузову! И заметь, — Масарский говорил, почти не глядя на Елагина, будто был уверен, что тот внимательно слушает его, — это всё первые имена, первые по значимости и по тому, что первыми начинали это дело. Куда ни глянь — они.

Застывшая было невская вода задышала, качнулась, плеснула слегка по ступеням спуска. Справа вверх, против течения пошли громадные, тяжело гружённые корабли, осевшие по ватерлинию. Передовую баржу тащил упорный и маленький, как ослик, по сравнению с ней, буксир. Он сипел, плевался паром, на палубе суетились два матроса, и в подсвеченной рубке был виден профиль капитана.

— Всё, Марк, — спохватился Елагин, — мосты развели. Теперь мы до утра здесь, на Васькином острове.

Наверное, именно тогда, Елагин не помнил точно, и зашёл разговор об артели «Печора». Разговор, перевернувший его жизнь. Марк тогда работал в «Печоре». Таинственный и неотразимый герой-золотодобытчик Туманов, романтика настоящей мужской жизни, конечно же, сказочные заработки за сказочный же двенадцатичасовой труд, столичные ресторанные повара, готовившие работягам изысканные блюда в огромных количествах, рубленные дома-коттеджи с русскими парилками и вошедшими в моду саунами. И свобода, и просторы, и к чёртовой матери этот затхлый мирок, этих живо-фальшивых людей, эту болтовню о поэзии и философии, — всё за борт! Есть, есть ещё настоящие люди и настоящие дела!

— Когда ты едешь? — просто так, ещё ничего не решив, спросил Елагин.

— Завтра! — кивнул Масарский, не отрываясь от мостов, вскинувших вверх могучие разводные пролёты, от грузовых судов, аккуратно протискивающихся между застывших в сумрачном свете гранитных быков, от палубных огней, от едва слышных разговоров на судах, от бархатного плеска волн, обеспокоенных тяжко нагруженными, просевшими под тяжестью трудягами. Не было гудков, сигналов — только плеск волн, грозный гул двигателей, палубные огни, запах дизельной гари и едва слышные команды. Шли корабли-призраки. Палевое небо, безразлично смотревшее на город, делало их нереальными.

— Завтра, — повторил Масарский. — Хочешь со мной? С нами?

И, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону светящейся головы Кунсткамеры. Зашагал, это Елагин отметил сразу, по-новому, по-хозяйски, будто понимая, что Елагин пойдёт за ним, подстроится под его лёгкий, скользящий шаг.

Через два дня и три бессонные ночи, после самолётов, речной посуды ПТ по прозвищу Потерпи Товарищ, узкой для троих кабины трактора-лесовоза, ползшего по невидимой, залитой вонючей болотной жижей «трассе», Елагин уже пожимал странно тяжёлую руку «того самого» Туманова, бывшего политека с восемью побегами и полной реабилитацией, ныне артельщика-золотодобытчика.

— Марк пропел, ты в дизелях разбираешься, — утвердительно сказал Туманов. — Вон там, — он кивнул коротко стриженной головой куда-то в сторону, — до хрена всякой техники. Мёртвой. А мы платим за каждый день аренды. По закону. Как за живую. Запустишь половину... — он задумался. Комары на загорелой шее наливались кровью. — Хоть что-то запустишь, — поправился он после короткого раздумья, — себя оправдал. Знаешь, как все у нас, несколько профессий, — хорошо. Жить будешь дальше. — Елагину показалось, что Туманов улыбнулся. — Питерский, говоришь? Я в Питере не бывал. Всё больше по востоку да по северам жизнь носила. Красивый город? — Комары, насосавшись крови, отваливались, давая место другим. — Будет время, расскажешь! — И ушёл, оставив дымок сигарки и крепкий запах костра.

## Глава 21

Чемоданчик с бумагами, что принёс Яков Семёнович Друскин, на время оторвал от собственных записей. Это даже набросками назвать нельзя. Хотя для характеристики будущего диктатора может и пригодиться. Например, стихи, опубликованные в газете «Иверия».

Шёл он от дома к дому,  
В двери чужие стучал,  
Под старый дубовый пандури  
Нехитрый мотив звучал.

В напеве его и в песне,  
Как солнечный луч, чиста,  
Звучала великая правда,  
Божественная мечта.

Сердца, превращённые в камень,  
Будил одинокий напев.  
Дремавший в потёмках пламень  
Взметался выше дерев.

Но люди, забывшие Бога,  
Хранящие в сердце тьму,  
Вместо вина отраву  
Налили в чашу ему.

Сказали ему: Будь проклят,  
Чашу испей до дна!..  
И песня твоя чужда нам,  
И правда твоя не нужна!

Стихи чепуховые, лабуда (хоть перевод Арсения Тарковского их и подправил), но ведь писал же. И не кто-то, а сам главный редактор газеты князь Илья Григорьевич Чавчавадзе, первый грузинский либерал и националист, Pater Patriae, как сказали бы в Риме, публиковал эту романтическую чушь. А одно стихотворение попало даже в сборник лучших грузинских поэтов. Не отсюда ли будущий интерес (зависть-любовь?) Сталина к поэтам? Всё никак не мог решить, кто первый: Пастернак или Маяковский. Так и склонился бы, скорее, к Пастернаку, если бы не Лиля Брик. О Лиле вспомнился рассказ кого-то из москвичей: встретил эту парочку, Лилю Брик с Катаняном, в магазине. Тот посадил её на складной стульчик, что принёс с собой. Так и сидела крашенная старуха, в точности как старая линиялая образцовая кукла: алые наведённые губы, намалёванные синим провалившиеся глаза, по последней моде шляпка из Парижа и домашние тапки на подагрических отёкших ногах.

Может быть, и «поход в революцию» выпал случайно? Не допустили (позже напишут «не явился») до экзаменов в семинарии якобы из-за опубликованных стихотворений. А допустили бы, кто вышел: священник или малоохольный поэт, каких в Грузии, как и везде, пруд пруди? А тут — живая романтика, что ни день — почти подвиг, новые люди, новые книги из тех, что нужно (тоже романтично!) скрывать. Куда они все денутся потом, когда он придёт к власти? Прочь из библиотек, не в костёр, как в средневековье, а в котельные, сжечь тайно и по акту. Акт подписан тройкой: директор, партийный секретарь и, желательнее, кто-то из органов.

А пока первый арест в Батуми, первая камера. Говорят, первая камера, как первая любовь, не забывается. Кстати, была ли у него первая любовь? Вроде бы кто-то из старших семинаристов водил его к дешёвым базарным женщинам, что прятались, впрочем, не очень-то старательно прятались, в грязных лачугах за базаром. Плюгавого мальчишку-семинариста туда бы не пустили, но он уже тогда ходил только со старшими и здоровенными оболтусами. И даже, по-видимому, командовал ими, несмотря на хилость и сухорукость. А вот и первая ссылка, какое-то местечко Новая Уда. Где это, кто знает? Будто бы Восточная Сибирь. Про Сибирь слышал от товарищей по партии, но чтобы Восточная... Россия поразила огромностью. Здесь всё не так, как в Тифлисе. Поезд тащится (или мчится?) по бесконечной равнине. Лес, поле, река, опять лес, лес, болота, застывшие, непохожие на домашние, горные, реки, снова всё тот же гнусный, опостылевший пейзаж, изжога от дрянной незнакомой пищи, мерзкие рожи вокруг с сигарками из ужасного — правда, очень крепкого — табака, от которого перехватывает дух. На остановках смачные бабы, ряженные в цветные платки, суют «убогим» пироги с капустой (с мясом оставляет себе конвой, это отдельная памятливая злоба), с луком, кислый невкусный хлеб, какую-то печёную мелочь... А пейзаж не кончается, гнусный равнинный пейзаж, делённый широченными, страшными реками (плавать так и не выучится никогда). И не кончится до самого Урала, хотя и там — что за горы? Смех один, хотя в «стольпине» особо и не до смеха.

Новая Уда — местечко для ссыльных известное. Староверческое. Церковь, острог да пять кабаков, почитаемых «артельщиками» — уголовниками, загнанными за Урал, за Камень, или, по-ихнему, — «за Можай». Облагодетельствованные правительством «политические» получали восемь-двенадцать рублей, что по Устьюдинским меркам

вовсе не так плохо. И на постой можно определиться с кормёжкой трижды в день, и одежку какую-никакую справить. Валенки, полушубок, а то и тулуп не помешает: минус сорок — сорок два для Новой Уды привычное дело, жить можно. Если, конечно, не перебраться в кабаке да не кувырнуться в сугроб спьяну. Политических всех сортов и оттенков тут побывало достаточно. Но герой наш к ним не прибился, хоть деньги от однопартийцев и получал через давно сидящих, после вспомнит: «...Много было среди них разной сволочи». И деньги, и посылки (реже) приходили. Книг совсем мало. Меньше даже, чем в Батумской, а после и Кутаисской тюрьмах. Там выбор для политических был неплохой.

*Совсем не трудно представить себе список этих книг: популярные произведения по естествознанию; кое-что из Дарвина; «История культуры» Липперта; может быть, старики Бокль и Дрэпер в переводах семидесятых годов; «Биографии великих людей» в издании Павленкова; экономическое учение Маркса в изложении русского профессора Зиберы; кое-что по истории России; знаменитая книга Бельтова об историческом материализме (под этим псевдонимом выступал в легальной литературе Плеханов); наконец, вышедшее в 1899 году основательное исследование о развитии русского капитализма, написанное ссыльным В.Ульяновым, будущим Н.Лениным, под легальным псевдонимом В.Ильина. Всего этого было и много, и мало. В теоретической системе молодого революционера оставалось, конечно, больше прорех, чем заполненных мест. Но он оказывался всё же недурно вооружён против учения церкви, аргументов либерализма и особенно предрассудков народничества.*

Это Троцкий, конечно. С его иронией, сарказмом и образованием. Для Кобы (он уже стал Кобой) и этого хватало с избытком. Кроме того, поначалу тайно, а после и явно, даже с удовольствием, он пакостил (или так учился работать?) в книгах: писал, подчёркивал (позже, в кремлёвском уже кабинете, цветными карандашами) и комментировал. «Ха-ха!», «болван», впрочем, болван через «а», а то и «учитель, учитель». Про Грозного, — но это позже. А как читать при свече? Пробовали? Или при лучине? Лучины, конечно, не было в избе Марфы Ивановны Литвиновой, в закутке у которой жил будущий вождь, но и свечи, и особенно керосин — берегли. Но всё это превращалось в злобу. Прежде — на себя. Зачем писал жалкое письмо главноначальствующему гражданской частью на Кавказе князю Г.С.Голицыну:

*Нижайшее прошение.*

*Всё усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже двенадцать лет и видящей во мне единственную опору в жизни, — заставляют меня второй раз обратиться к Канцелярии главноначальствующего с нижайшей просьбой освобождения из-под ареста под надзор полиции. Умоляю канцелярию главноначальствующего не оставить меня без внимания и ответить на моё прошение. Проситель Иосиф Джугашвили. 1902 г., 23 ноября.*

Жалкое послание сатрапу, на которое тот даже не ответил! Конечно, мама уговорила, после и писала сама. Ему же. И с тем же результатом. Может, накопившаяся злоба и толкнула на побег? Пробыл в первой ссылке всего полтора месяца. Бежал. Из Иркутской губернии, зимой, с чужими документами бежал. И добрался до Батума. И прожил там несколько лет нелегалом. Чудо? Секретарь Батумского комитета Рамишвили не верил в чудеса. Полиция! Тайный агент! Выручил руководитель Кавказского союзного комитета социал-демократических организаций Закавказья Миха Цхакая. Он же — посажённый отец на свадьбе Иосифа Джугашвили и Екатерины Сванидзе в Тифлисе, сосед Ленина по Берну и Лозанне, попутчик по «пломбированному вагону» из Швейцарии в Россию, член ЦИК Коминтерна, пятикратный участник съездов партии и пятикратный же участник конгрессов Коминтерна. Старый, тихий, напуганный, но преданный вождю человек. Но и на старуху бывает проруха. То есть и на стариков. В 1950 году решился на отчаянный шаг, попросил Сталина (тот публично поименовал Михаила Григорьевича

своим «Учителем в Тифлисе») спасти арестованного сына старого тифлисского друга. Ученик ничего не ответил учителю, только прислал в подарок конфеты-бомбошки, которыми они лакомились в юности. И старый «учитель» скончался. Что ж, бывает. Восемьдесят четыре года, почти восемьдесят пять, возраст смертный. Зато похоронили достойно. В Пантеоне великих людей на горе Мтацминда. Вождь умел быть благодарным.

## Глава 22

В столовой Дома творчества перемены. Место Фёдора Абрамова, пустовавшее больше недели, занято неизвестным человеком. Сам Фёдор после пьяного скандала не появлялся. Со слов Рубашкина, уехал с делегацией в ФРГ. Кто-то же должен представлять писательскую общественность. Опять же по Рубашкину, Абрамов встречается с Бёллем. Любопытная могла бы быть беседа, прознай Бёлль о СМЕРШевском прошлом впавшего в деревенскую ересь Абрамова. Позволенную избранным ересь, ошибочно принимаемую на Западе за проблески «социализма с человеческим лицом».

— Знаете, кто на месте Абрамова сидит? — всевидящий Морозов явно дожидался Елагина, сидя на своём месте в углу и разглядывая входящих в столовую. — Нет? — он был доволен. — Человек оттуда, — и поднял глаза к потолку.

Елагин пожал плечами.

— Я видел, — привычно сплетничал Морозов, — как он разговаривал утром с директором Дома! — Морозов был с директором Дома творчества в ссоре и принципиально не называл его по имени-отчеству. Неприязнь была отчасти ещё и оттого, что, как считал Морозов, директор был ставленником КГБ (что соответствовало действительности). — Тот лебезил и заглядывал в глаза! Видать, малый-то в чинах! — припечатал Морозов незнакомца.

— Как думаете, в каком он обличьи предстанет в следующем своём перерождении? — Елагин повернулся и кивнул официантке, поставившей на стол унылую творожную запеканку, кашу и подсохший кусок сыра на отдельном блюдечке.

— Меня имеете в виду? — догадался сообразительный Морозов и засмеялся. — Я стану старым баобабом!

Дело в том, что вчера «вечерком» он зазвал Елагина на интереснейшую беседу: о душе. И последующих перевоплощениях.

— Это очень интересно, как человек может приблизиться к богам. — Морозов аккуратно разливал остатки вина по стаканам. — Вас не смущает, что допиваем остатки? — Он быстро глянул на Елагина и поставил бутылку в сторону. — Вчерась с Сергей Владимычем (Петровым) беседовали-с, — и достал коньяк, как бы показывая серьёзность намерений. — Он, знаете, всё Пифагора поминал. Что тот рождён от смертной женщины и смертного отца. И всех почестей удостоился не за физические достоинства, вроде Геракла, никого не побеждал, не убивал, а почести заслужил силой знания. То есть знаниям впервые в истории эзотерики приписана сакральная функция. Знание может обеспечить бессмертие. Бессмертие через знание. Отсюда, Сергей Владимыч считает, прямой мостик к Платону и гностицизму. Знание обеспечивает существование в том мире. С Пифагора всё и начиналось! — Он с интересом рассматривал Елагина. — Что скажете? Или вы о бессмертии не размышляете?

Морозов был по-стариковски небрит, неряшливо, по-домашнему одет и казался больным.

— Для Пифагора смерть означала забвение. Что такое умереть? Это перестать помнить! В греческой архаике душа попадала в Аид, и, испив мрачноватой воды Леты,

*Иван Макаров*

## Остановка каравана

### *Цветы к памятнику Циолковского*

Родная природа...  
Но даже на лоне природы  
Поём как попало, природу свою поломав.  
Мы все из народа, приёмные дети свободы,  
Живём среди клумб и внимательно сходим с ума.

Калужские сосны о чём-то утраченном плачут.  
А, может быть, стонут от страха грядущих метелей.  
Анютины глазки похожи на мелких собачек.  
Большие тюльпаны устали.  
Увяли. Осыпались и облетели.

\* \* \*

Крадётся и в полдень, и в полночь,  
Совсем никуда не спеша,  
Нескорая скорая помощь,  
Почти неживая душа.

Ни моря вокруг и ни суши,  
В народе не видно людей...  
Весёлые мёртвые души  
Идут вдоль трамвайных путей.

Шопены и Шуберты, тише!  
Карета пока не для вас.  
Качаются стены и крыши.  
Смеркается. Ночь через час.

И скорая помощь визжит  
И делает вид, что спешит.

---

*Макаров Иван Алексеевич* — поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Москве. Окончил Химико-технологический институт. Работал инженером, слесарем, сторожем, дворником и т.д. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Волга», «Плавучий мост» и др. Живёт в Калужской области. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.



## Москва. Сентябрь

Всех по паре в зоосаде, и в ковчеге,  
В зоосаде даже больше, чем по паре.  
Во дворе играют на гитаре  
И поют про умопомраченье.

День за днём надводное кочевье.  
Поневоле каждый зверь — кочевник.  
Ходит нежный кот по дну ковчеха,  
Чтобы мыши не прогрызли дно ковчеха.

Зоосад. Животные глаголы.  
Будь как Ной, не бойся, не смущайся.  
Улетай скорее, белый голубь,  
И назад уже не возвращайся.

Больше нет ни знания, ни незнания.  
Год пути до площади Арбатской.  
Зоосад перед высоткой на Восстанья,  
Как ковчег перед вершиной Араратской.

\* \* \*

Начало вечера. В глазах  
Попутчика печаль степная.  
Мы курим у окна. Казах  
Молчит, о чём-то вспоминая.

В несвоевременной тоске  
Непостижимой жизни знаки.  
Татуировка на руке:  
Рука, сжимающая факел.

Не озарит и не спасёт,  
И не укажет путь, и всё же  
Кому он этот свой несёт  
Неяркий свет на смуглой коже?..

Мы смотрим в пыльное окно,  
Там, как живая, перед нами  
Степь проплывает, как кино  
И как поверженное знамя.

Вблизи — заснежены кусты.  
Вдали... Чего мы ждём оттуда?  
Что там? Плывущие флоты  
Или бредущие верблюды?

Что было? Будет? Неба синь?  
Как жизнь одна вмещает странно:  
Безводну даль полупустынь,  
Безбрежны воды океана.

\* \* \*

Слова летят, как клочья плоти,  
В полёте изменяя облик,  
Чтоб в каждом встречном идиоте  
Найти созвучие и отклик.

Им нелегко остановиться,  
Они захвачены движеньем ...  
Слова летят, как чьи-то лица  
С меняющимся выраженьем.

Освобождённые в полёте,  
Слова по-своему живут.  
Мы их бросаем, не заботясь,  
Что нас неправильно поймут.

Со всех сторон ветра бушуют,  
Дожди, и кругом голова:  
Как будто правда торжествует,  
Изменчивая, как слова.

### *Иаков. Остановка каравана*

Звёзды, солнце... То ночь, то свет.  
Скорый счёт и годам, и дням.  
Ох и труден Ветхий Завет,  
Ничего не понятно нам.

Снова бег от родных врагов.  
Разбежались — и во врагах.

По кочевью ищут богов,  
А Рахиль сидит на бобах.

Не кончаются чудеса,  
Жар пустынь, караван забот.

А ещё впереди Исав,  
А ещё семнадцатый год...

Горизонты пустынь, дымы,  
Войско, овцы, верблюды, мы.

*Николай Кононов*

## Простодушный балет, или Счастливая Люда

*Рассказы*

### *Малохаткин-анималист*

Заведующий кафедрой с выражением «вот это да!», словно увидел неизданные откровения классика, перебрал несколько листков, он замедленно двигал руками, будто в этом месте гравитация была повышенной, сбил листы в стопку, шумно поднялся, что-то преодолевая, ссутулившись, оправил галстук, такой свисающий с шеи математический маятник-отвес, и в установившейся строгой тишине провозгласил:

— Товарищи дорогие мои, единомышленники! К нам тут письменно и вполне официально, позвольте заверить уважаемых присутствующих, обратилось наше широко известное областное издательство с товарищеской просьбой дать взвешенную и, само собой, идеологически адекватную оценку одного поступившего произведения, так сказать, чисто художественной, не побоюсь этого слова, литературы.

Он замолчал, принимая личину интеллигента-читателя, внимательного завсегдатая диспутов, имеющего приятный вопрос наготове.

— Просьба такой специализированной оценки, не побоюсь этих слов, возникла потому, что труд товарища Малохаткина, присутствующего среди нас прямо здесь... — и он сделал пригласительный жест в сторону красномордого бугая.

Тот поднялся, постоял немного и сел.

Это был буйный человек в совершенном противоречии со своей уютной фамилией, он неловким движением плеча мог снести не то что какую-то малую хатку, но и справный дом-пятистенки, послуживший нескольким поколениям.

Он походил на богатыря, каковыми их изображают мультипликаторы: с нечёсаной копной волосни цвета замёрзшей урины, с носом-картофелиной без ноздрей,

---

*Кононов Николай Михайлович* — поэт, прозаик, арт-критик, издатель. Родился в 1958 году в Саратове. Окончил физический факультет Саратовского университета, а затем в Ленинграде аспирантуру по специальности «Философские вопросы естествознания». Работал в средней школе, в издательстве «Советский писатель» (Ленинградское отделение), в 1993-м основал издательство ИНАПРЕСС. Автор 10 книг стихов, среди которых «Пловец» (1989), «Лепет» (1995), «Поля» (2005), «Пьесы» (2019), также нескольких романов — «Похороны кузнечика» (2000), «Нежный театр: Шоковый роман» (2004), «Фланёр» (2011), «Парад» (2015) и другие. Лауреат и дипломант различных литературных премий, в т.ч. премии Андрея Белого (2009). Живёт в Санкт-Петербурге.

глазами-пуговицами, с бревнообразной шеей, с не скрываемым пиджаком пузом, где колебалось и урчало варево.

Кажется, благоухало от него, как от разобранного трактора на машдворе, — ржавой окалиной и солидоллом.

На его огромные розовые лапы, вылезавшие из рукавов, лучше было вообще не смотреть.

Заведующий и сам с удивлением глядел на поднявшегося персонажа русского эпоса.

— Так сказать, художественное произведение... — и он опять широким жестом указал на едва уместившегося на стуле сочинителя, — претендует, чтобы встать в ряд с прочими известными произведениями нашей советской многоотраслевой, и совершенно не побоюсь этого слова, ленинианы.

И многие присутствующие с надеждой подумали, что наконец-то и им посчастливится постоять у истоков критической кампании по развенчанию этих в очередной раз распоясавшихся писак. Некоторые уже внутренне облизывались. Это сулило многое — критические публикации в периодике, публичные выступления с разъяснением позиций, участие в диспутах по ниспровержению, командировки в райцентры, а может, и в соседние областные города, суточные, прекрасные карьерные перспективы.

Заведующий хорошо понимал, что думают его коллеги. Он важно помолчал, будто хотел этой паузой продемонстрировать аудитории ответственность возложенного на кафедру дела.

— Сразу скажу: вопрос был поставлен перед кафедрой весьма непростой. Непростой вопрос. Критичный, не побоимся этого слова. Да... Хотя бы потому, что товарищ Малохаткин по-богатырски замахнулся на совершенно не возделанную тематику.

И он опять смолк, будто давал прислушаться к тому, как в его мозгу вращаются жернова анализа; несколько секунд он стоял, закрыв глаза, раздумывая о чём-то невероятном и вообще уму непостижимом.

— Да, название труда товарища Малохаткина безусловно потрясает вдумчивой смелостью! Вслушайтесь, коллеги: «Владимир Ильич Ленин и русские животные». Так сказать, отношения Владимира Ильича и братьев наших меньших по разуму. Мы, товарищи, даём завершающую рецензию философского толка этому труду, в каком-то смысле. Знаем, что большой отрезок своей творческой жизни товарищ Малохаткин отдал этой работе. Оценки-отзывы по части исторической науки с областного пединститута и по биологической части с зооветтехникума у товарища Малохаткина, надо сказать, не побоюсь этого слова, — прямо безупречны. Понимаю, коллег не в чём упрекнуть. Не хотелось бы, чтобы мы подошли к вопросу формально, потому слово для сообщения предоставляется Семёну Б., аспиранту нашей кафедры. Он, собственно, и покопал по моему поручению эту проблему. Ну, уважаемый Семён Б., пожалуйста, пяти минут вам, думаю, хватит. Есть иные мнения? Что, трёх достаточно? Ну, товарищи, за три минуты мы не сможем обозреть проблему во всей её критической глубине всё-таки.

Заведующий, изъясняющийся на причудливой мешанине пауз, кургузностей и безграмотностей, сделал ритуальный жест рукой, словно был персонажем миманса, воспитателем принца, к примеру, и аспирант Семён, надевший по случаю пиджак, встал за кафедру и важно раскрыл тощую папку, откуда извлёк один-единственный листок.

Всем собравшимся было заметно, как сидящий в первом ряду богатырь Малохаткин от волнения сквозь костюм порозовел, как лоб его покрыла капель испарины, как он набычился, нервно засопел в жменю, задвигал стопой в огромном ботинке, будто давил гуся. Подумать о его босых ногах было страшно, он вполне мог за час утоптать за овином гектар заброшенных сельской пьянью угодий.

Суть продуманного выступления Семёна-рецензента сводилась к следующему:

— Задокументированных, — как выразился он элегантно, — случаев общения Ленина с русскими животными зафиксировано, к величайшему сожалению, очень и очень мало. — И он загадочно обвёл взглядом аудиторию.

Никто не ахнул.

— Ну, есть знаменитая фотокарточка «Владимир Ильич с Муськой», представительницей кошачьих, имеющая точнейшую дедикацию; в детской и подростковой литературе часто встречается описание общения нашего Владимир Ильича с собакой Найдой, в просторечии «сукой», когда вождь в Горках увлекался охотой, но это мемуарные свидетельства некоего деда, якобы Остапыча или Осипыча, низкой авторитетности, записанные и опубликованные со слов вышеуказанного деда Бонч-Бруевичем, так сказать, художественно. Фотографии же суки Найды, к сожалению, в архивах обнаружить товарищу Малохаткину не удалось. Но время ещё есть! К счастью, — продолжил он серьёзным голосом, — нам всем тут очень повезло, что есть фундаментального характера заметки в Шушенском корпусе писем вождя, и это, конечно, авторитетная драгоценность, если не святыня, к Марии Ильиничне, сестре, и Надежде Константиновне, невесте, что соседские брехающие суки не дают вволю поспать по утрам, а ночью, когда работа над теориями особо плодотворна и интенсивна, почему-то молчат, будто всё про умственный строй Ильича понимают. И это нашло серьёзное отражение в рассматриваемом труде товарища нашего Малохаткина!

Есть также безупречные свидетельства матери вождя о ловле юным Володей пескарей в протоке Мутной, пониже на версту Симбирска, и ещё об остроумном домашнем способе уничтожения комаров целыми группами, всё-таки, как сознавался сам Ильич, изобретённом братом Александром, в будущем — выдающимся героем-цареубийцей и народовольцем.

Но писатель товарищ Малохаткин, не побоюсь этого слова, рисует настоящий пантеон биологических видов, где мог бы широко общаться с этими самыми видами Владимир Ильич. Повторюсь: мог бы... Додумывает в каком-то смысле сам.

И это если не плюс произведения товарища Малохаткина, то уж никак и не минус.

Заслуживает внимания вставной цикл лирических рассказов-сказаний о выдающихся конях, носящих славные имена, навеянные в каком-то смысле биографией вождя. Писатель Малохаткин прослеживает героическую жизнь кобылы Симбирки, чей круп знавал виднейших командармов Гражданской войны.

Семён глубокоумно помолчал, будто раздумывал о судьбе кобылы, он даже немного пожевал невидимые удила:

— Стоит, — ласково улыбаясь, прибавил он, — обратить особое пристальное внимание на ещё один раздел, посвящённый именно лошадям, названным в известном смысле напрямую в честь Владимира Ильича. Перечислю некоторые запомнившиеся главы: «Конь Симбирск — герой», «Неутомимая кобыла Шушка», «Жеребец-молодец Казань», «Наш боевой мерин Разлив». И вот товарищ наш Малохаткин, — Семён завершал своё выступление зычным аккордом полной абракадабры, — подробно

прослеживает биографии этих благородных животных, положивших жизнь на алтарь победы ленинизма!

В полной тишине он вложил листок в папку, подробно завязал тесёмки бантиком по-бабьи и удалился на своё место подле Гомера. Тот пожал ему руку интенсивно.

Вопросы к сочинителю звучали такого рода: «А как вот пронизательность вождя была, например, товарищ писатель, ассоциирована с дикостью кошек, ведь этих тварей приручить невозможно, но Ильич смог и тут проявить гениальность?» «По воспоминаниям сестры, — поведал Малохаткин, — кошки особенно тянулись к вождю, выделяли его среди прочих, будто чувствовали что-то в нём особенно гуманистичное, всегда вскакивали на колени и ластились».

Вопросов больше не было.

Конечно, и Гомер по-профессорски заметил кое-что из истории философии, не имеющее никакого отношения к делу, а просто так, для красоты положения, напомнил о собаках и древних киниках... И с людоедской улыбкой, обращаясь к окну, глядящему в бесконечность, сказал, что уважаемый наш товарищ Малохаткин, в недавнем прошлом житель глубинки российской, сам не ведает, какой горный хрящ он тут, понимаешь ли, легко одолел, из-под какой лавины материала выбрался во всей амуниции мыслителя на плато ленинских биооткровений. Прямо идеологический богатырь!

Товарищ Малохаткин от такой хвалы на глазах расширился, как баян, разворачиваемый мехами перед публикой, чтобы сорваться в какую-то виртуозную канитель типа «Полёта шмеля» Римского-Корсакова или «Железнодорожной» Глинки.

Гомер не унимался, он был просто ошеломлён этой животной сагой о вожде, где всё было разложено по гнёздам и насестам, лежанкам и конурам и разведено по стойлам и яслям. Он ведь легко мысленно общупал все объекты Малохаткина, как плюшевые игрушки в магазине.

Его несло:

— А ведь перед всеми сияли эти ледники. Даже товарищ Шагинян наша, так сказать, Мариэтта Сергевна, не смогла взять эту высь, как ни пыталась. А пыталась ведь! Эх она пыталась туда влезть, а не тут-то было! Но это не каждому по зубам, скажу я, товарищи, коллеги мои дорогие, вгрызаться в животный мир, что перед вождём расступался.

Гомер, счастливо улыбаясь в зловещее никуда, неопратно гудел, испуская из себя кроме звуков ещё какую-то субстанцию абсолютной бессмыслицы:

— Но тема-то какова?! А?! А, ведь! Ленин и мир живой природы! Даже животные и птицы перед Ильичом пресмыкались! Удивительное всё-таки дело! А ведь смелость какая, товарищ Малохаткин! Диалектика животного мира, понимаешь! Вот, коллеги, сама судьба нам послала скрупулёзнейше порядочного исследователя из народа! Это же просто тебе готовый разрешитель парадоксов! Из села, а уже щепетильнейший знаток, прямо Зенона на вираже обскакал! А? Каково? Логик! Диалектический! И нет у товарища Малохаткина в исследовании ахиллесовой пяты, как ни ищи! Подписаться готов под каждым словом.

Он не стал уточнять, под чьими словами подпишется.

Он не мог успокоиться, будто ему было откровение.

Гомер обвёл плотный воздух над головами сидящих слепым леденящим взглядом.

И торжественно провозгласил неожиданно:

— Я бы даже с удовольствием рекомендовал этот труд как кандидатскую диссертацию. А что, товарищи мои, есть ведь прецеденты! Это ж даже научный шпиль

в некотором роде, дорогие коллеги! А сколько страниц, простите, любезный, в труде проникновенном вашем?

— Да... Ну, девяносто пять машинописных страниц...

Тон Гомера изменился, будто его втокнули в душную комнату.

— Да, для диссертации маловато, маловато, конечно, спору нет.

Малохаткин пугался Гомера, как провинившийся большой неопрятный пёс хозяина. Он смотрел мутными глазами вниз, будто наконец разглядел на полу миску с холодными объедками.

В голосе Гомера была обида: вывести в люди такого богатыря... Какой настоящий учёный не мечтает о таком ученике? И он нашёлся, провозгласив вдохновенно, как здравицу на сказочном пиру, будто хлопал Малохаткина по плечу в кольчуге:

— А надо поработать по-богатырски, товарищ Малохаткин! Можете ведь крижи, так сказать, ворочать, в гранит до треска зубовного, извините, конечно, вгрызться! А?

— Да как это девяносто пять страниц с иллюстрациями животных? — сдержанно обрадовался завкафедрой. — Иллюстративный материал коней? Да это ж очень хорошо. Отменно! Спору нет! Но мы ведь это рекомендовать ну никак просто не можем... Для Ильича и животных это не размер, конечно, не размер... Нас инстанции ни за что не поймут и по головке не погладят, так что уж извините, товарищ Малохаткин. Надо наращивать листаж, конечно! Ну хоть страниц триста ещё так, скажем, подверстайте. Надо исследовать, исследовать и исследовать, в ваши-то годы...

Последняя фраза звучала странно, потому что сколько лет Малохаткину, при забубённом образе жизни не спивающегося пропойцы, понять было совершенно невозможно. От двадцати до шестидесяти.

Малохаткин залупоглазел, так как не ожидал такого оборота, он потерял себя за носяру огромной лапой крестьянина, могущей легко прикрыть ведро навоза или сквозной пропил толчка. Каким образом он держал ручку или карандаш или тыкал в клавиш ундервуда, излагая свои животные материи, — было загадкой. Большое лицо его, всё-таки ряха, всю прошлую жизнь глядевшее на крупнорогатую скотину, изображало мычание...

Он с трудом нашёл слова:

— Ну, товарищи, буду считать полезное дружеское обсуждение первым моим заходом по теме. Буду работать не покладая, так сказать. Не все тут животные подобраны, конечно, в ленинском аспекте, не все, но есть где мне развернуться.

И он действительно развернулся всем вальковатым туловом.

— Хочу с птицами нашими и насекомыми ещё поработать по всяким научным схранам. Как вот прям дам научный объём, так ну сразу прям и к вам напрямки.

В каталогах крупнейших библиотек подобная книга к сегодняшнему дню отсутствует как в предметном, так и именном указателях.

### *Козюльки и цуприльни*

Не умея как-то отстранённо размышлять над процессами приготовления пищи, они мистическим образом знали, что сама усердная стряпня — уже и есть еда, и куда значительнее, чем её банальное поглощение.

Мать собирала для сладкого вываривания всяческие пригородные паданцы, похожие в какой-то степени на плоды, всякие дармовые лесные невозможности.

*Игорь Касько*

## Мир воскреснет

\* \* \*

Человек, владеющий даром речи,  
всё тебе не даром дано, не даром.  
С божьего так сложно на человеческий  
обращать в понятное божьим тварям.

Где-то ветер мантру свою прошепчет,  
где-то под землёй прошмыгнёт полёвка,  
где-то над снегами зависнет крик —  
ты словами вторишь уже полёту,

ты уже за ветром читаешь мантру,  
ты уже к земле приставляешь ухо.  
Вот бы ещё к этому да к таланту  
счастья бы да славы хотя б понюху.

Но тебе и так, дураку, неплохо.  
Ведь в глазах весь мир отражён до донца.  
Ты лишь просишь рифмы себе у Бога  
и чтоб ярче смерти светило солнце.

\* \* \*

Только мёртвые знают всю правду об этой войне.  
Но они не расскажут её никому. Ни тебе и ни мне  
не узнать обо всём до конца, до последней молитвы.  
Пахнет чёрной бедой на полях после яростной битвы.

И герои, и камни сгорают, как спички, в огне  
этой страшной и странной войны. И на чьей стороне  
кто убит, разве в этом вопрос? И растерянной птицей  
в райский сад на постой  
чья душа навсегда возвратится?

---

*Касько Игорь Степанович* — поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1972 году в селе Турья Дубновского района Ровенской области (Украина). Окончил военное училище. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Многоточия надежды...» (2014) и «Сорок четыре одиночества» (2016). Один из основателей литературной группы «Кавказская ссылка». Живёт в Ставрополе.



\* \* \*

А жизнь моя конечна, как строка  
на выдохе, упавшая в беспамятство.  
Строка неприхотлива и строга  
одновременно. И стучат под пальцами  
сердца всех слов, нанизанных на нить.  
Я этот стук пытаюсь сохранить,  
как благовест, и передать другому,  
тому, кто постучится в двери дома,  
который я покинул навсегда.

\* \* \*

И время нехорошее.  
И бремя непосильное.  
Глядишь, гнездо пригожее,  
заденешь — ох, осиное!

И в тишине неистойвой  
гудение тревожное  
тягучими регистрами  
втирается подкожно мне.

От миротворения  
до страшного пророчества —  
одно стихотворение  
без имени и отчества,

покусанное осами,  
побитое вопросами,  
немое, безответное,  
но светлое.

\* \* \*

А кровь бежит, как горная река,  
от сердца до высокого виска,  
и замирает в седине ковыльей.

И голос крови вечен и глубок.  
Я помню всё... И то, что одинок,  
как ангел, отказавшийся от крыльев.

И то, что слово, выросшее из  
тяжёлых дум, как камень тянет вниз,  
оно — бездушно, немо, не крылато.

Оно лежит на стылом дне реки  
так глубоко, что тень моей руки  
едва мелькнёт и вынырнет обратно.

Я помню всё. Я помню имена  
всех рыб и птиц, которые меня,  
по-человечьи, слушали веками.

Я помню крик сосны и скрип весла.  
Я слышу всех скорбящих голоса  
и превращаюсь в безымянный камень.

А кровь бежит, свой путь земной верша.  
И даже в камне теплится душа.

\* \* \*

Не спиться, не сойти с ума  
от новостей, что смерти горше  
и ядовитей, чем сурьма.  
А дальше — больше...

Не спится. Ночью тяжело  
не думать о любви и смерти.  
Лежишь ни мёртвый ни живой.  
Луна не светит,  
а только смешивает свет  
с непроницаемым небесным.

Всё замерло. И лишь рассвет  
разбудит всех негромкой песней,  
нам станет легче. И тогда  
погаснет чёрная звезда.  
И свет вернётся. Мир воскреснет.

Макс Неволошин

## Ты или я

Рассказ

Кто-то тронул меня за плечо.

— Привет, Паш, давно тебя не видно. Потанцуем?

Блондинка — утренний сон тинэйджера. Смелый закос под Мишель Мерсье или Милен Демонжо, что примерно одно и то же. Супермини, тени, блеск и кудри до лопаток. Лига явно не моя.

— Я не Паша, — говорю.

Девушка сфокусировалась.

— Ой. Обозналась, извини.

И исчезла в толпе, покачивая всем синхронно.

— Ну ты лох, — сказал Юденич, — такую самку упустил. Ты видел эти ноги?

— Паша, не Паша... — добавил Эдик, — какая разница?

Так я узнал о своём двойнике. Мы учились в разных школах, тусовки не пересекались. Между районами тлела война. Летом после девятого класса я увлёкся поиском истины в бюджетных креплёных винах. Система выстроилась так: друзья, портвейн, танцы, открытый финал. Танцплощадка была ничейной землёй, местом встреч и перемирий, ареной боевых действий. По вечерам её тяжёлый пульс бодрил посёлок до окраин, ускорял сердцебиение и шаг. Билет стоил пятьдесят копеек, уже истраченных на лакировку действительности. Но что такое двухметровая ограда, когда тебе шестнадцать и внутри стакан чернил? Стоило ВИА ДК «Керамзит» врезать «Шизгару» или «Кинь бабе лом», — толпа срывалась в пляс, а гроздь подростков — с забора вниз.

Эйфория децибел, ощущение зоопарка с неправильной стороны. Лидеры всех местных группировок. Самая опасная шпана. Самые известные фарцовщики с шикарными подругами, недосыгаемые лейблы, высоты юбок и глубины декольте.

---

Макс Неволошин родился в Самаре. В прошлом — учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Автор сборников рассказов «Шла шаша по соше» (2015) и «Срез» (2018). Печатался в «Новом журнале», «Волге», «Юности» и других изданиях. Живёт в Сиднее.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

Трезвых — ноль, включая музыкантов и охрану. Мордобой экспромтом по велению души.

Пригласить на танец барышню дано не каждому. Есть личности, рождённые со шпагой и усами. Они заметны, привлекательны, смелы. Их инициалы девушки выводят пальчиками на туманных стёклах. Я — с обратного края шкалы. Заметны во мне только комплексы, остальное — скучное, тощее, куцее. Первую электробритву родители купили мне в честь окончания института, так сказать, на вырост.

Страх любого отказа тяжёл, будто якорь. Страх попросить, открыться и услышать «нет». Значит, тобой гнушаются, брезгуют, ты недостойн и жалок — вот оно, доказательство. А если рядом её подруги, твои друзья? Как дальше жить? Из чего застрелиться? Отвернись, закури — эта музыка не для тебя. Как не хватало мне возле себя человека мудрого и прагматичного. Такого, который бы с детства учил верному взгляду на мир. Который сказал бы мне: «Слава, ты не червонец, чтобы всем нравиться. Бездействие заведомо лишает тебя шансов на успех. Отрицательный результат лучше никакого, ибо он заставляет меняться, искать варианты». Нет, нас учили косинусам, тангенсам и бреду про лишних людей.

Паша, не Паша — какая разница? За месяц я трижды сыграл эту роль. Друзья завидовали лаконичным матом. Моя уверенность росла. Девчонки, которые звали меня танцевать, напоминали хорошеньких кукол. Прижимались тесно, говорили мало, в основном: «Почему не звонишь?» и «Куда ты пропал?» «Искал альтернативный взгляд на мир», — отвечал я. Одна хмельная воздыхательница Паши уговорила отвести её домой. Дабы не выйти из образа, я согласился. Жила она в таком районе, куда не ступала нога осмотрительного человека. Ночью бараки военной застройки казались тоннелями времени. Между ними, вскрикивая и бормоча, перемещались тени. Тусклые жёлтые пятна окон усугубляли мрак. Почти у цели барышню некстати развезло, мы упали на лавочку. Я был использован как подушка для рыданий, обозван сукой, кобелём, вознаграждён признанием в любви. Иду, почти бегу домой, весь в слезах и губной помаде. И думаю: что происходит? Какой-то тип, похожий на меня как брат-близнец, меняет девушек чаще, чем я о них фантазирую. Вид на проблему из зеркала не убеждает. Значит, секрет не во внешности. В чём?

К августу моя карьера самозванца завершилась. Внимание нежного пола сползло в исторический минимум. «Возвращение Фантомаса», — догадался я. Однажды мне его издали показали. Худой, ниже среднего, но в каждом сантиметре — понтов на два. Лица я толком не разглядел. Между тем, обходными путями удалось кое-что разузнать: Паша Былинин, окончил девятый, учится так себе, не хулиган, не спортсмен. Ловелас печоринского типа. Соблазняет дев не ради отношений, даже без конкретной цели трахнуть — это вроде бонуса. Главное — коллекция, процесс. Пару раз увёл подружек у неправильных людей. Заработал в бубен, не угомонился. Ещё сказали, что Паша расспрашивал обо мне.

Последний учебный год смёл эти заботы, как ветер — фантики осени на дальний край танцплощадки. В недолгой борьбе с простыми соблазнами досуг мой опять захватили книги. Обложка любой из них была дверцей в убежище от малодушия, страха, абсурда, нужды притворяться кем-то другим. Словом, от жизни тинэйджера

в кинутый Богом провинции. Тем более «вечера отдыха» переместились в Дом культуры. Проникать туда на халяву не стоило суеты. Покупать билет не вызывало драйва. Да и к танцам я на время охладел.

Ротация сезонов — главная интрига захолустья. Новый год — ключевая тема зимы. Мне с детства чужды всенародные праздники, суета вокруг календарных дат, пафос как имитация смысла. Любые сплочённые действия, единые чувства, общие мнения есть повод от них воздержаться. Но одиночество в юные годы — роскошь не для слабаков. Четыре раза в декабре я наслаждался звучанием группы «Керамзит» — на школьных танцах для старшекласников и праздничном вечере в доме культуры. Чем больше я выпивал, тем удачней музыканты попадали в ноты. После крепкого напитка «Листопад» даже бляение фронтмена Толика Чулкова напоминало задумчивую гнусавость Макаревича.

«А сейчас... ас... ас... — летел его голос в полутьме зала, распадаясь на стразы гирлянд и зеркальные блики, — по настойчивым просьбам дам... дам... ам... Белый танец и... “Солнечный остров”!» Два резких аккорда, знакомый до недомогания блюз.

Всё очень просто: сказки — обман.  
Солнечный остров скрылся в туман.  
Замков воздушных не носит земля...

Девушка возникла неожиданно, будто стояла где-то рядом. «Пойдём?» — расслышал я. Пойдём. Лицо одновременно растерянное и сосредоточенное. Шатенка, стрижена коротко, тонкая фигура без излишеств. Чёрные джинсы, водолазка в тон. Не Пашин тип, хотя кто его знает... Почти с меня ростом, если не выше... нет, слава богу, кажется, нет. Далее мысли исчезли. Девушка притиснулась так ловко и уютно, что сразу выключился мозг. Объятие казалось почти материнским, впрочем, сужу об этом в теории. Женщины в нашей семье не любили телячьих нежностей. Мама и обе бабушки были гвоздями, которые эпоха сделала из людей. Кто решится их упрекнуть? С мамой мы обнимались дважды: первый раз, когда я прилетел из эмиграции. Мне было сорок, ей — шестьдесят восемь. О втором случае не расскажу.

Музыка кончилась, и началось что-то странное. Например, я не сразу узнал друзей.

— Это было сексуально, — усмехнулся Эдик. — Опять Пашиных девочек тыришь?

— Я никогда не видел такого чуда, — ответил я.

Он покачал головой.

Затем произошло малозаметное великое событие. На следующий медленный танец я пригласил незнакомку сам. Приблизился, молча взял за руку. Вновь ощутил эффект паузы, небытия, бестелесной свободы. «Нечестно, — сказал мой внутренний голос, — ты знал, что отказа не будет». — «Молчать!» — оборвал его я. И с чужой развязностью шепнул ей на ухо: «Может, исчезнем отсюда?»

Шубка её тоже оказалась чёрной. Декадентский образ нарушала бело-голубая вязаная шапочка — единственная светлая деталь. Где-то в интервале между залом и улицей прозвучало имя Ксения. Моего она не спросила. Я на всякий случай промолчал.

Айгерим Тажи

## Раздвигая материю

\* \* \*

С кем шёл — отступили на шаг,  
Потемнели лицом,  
Колышутся чайным паром ночью.

Он бормочет то ли алла, то ли отче.  
И боится глаза отвести,  
Не может глаза отвести,  
А сердце пытается зацвести.

Бог его гладит по голове.  
Растянулись в траве.  
— Смотри, сынок, — очерчивает рукою небо.

Врастает в почву, чувствуя, что летит.  
Смотрит: и впрямь летит.  
Бог в левое ухо ласково говорит.  
А правое ухо горит.

\* \* \*

Когда Карлыгаш<sup>1</sup> танцевала у костра  
Подняв голову закручивала звёзды по часовой  
Камыш нагибался в сторону от реки  
Чёрная птица поднималась и опускалась к земле  
По щекам била распущенная коса

Мы смотрели украдкой — от взгляда её пекло

За прозрачные нити тянула вела в игре  
Как в замедленной съёмке срывая с небес огни  
Зачарованно медлили в секунде-другой  
До того как взрывается сердце

---

*Айгерим Тажи* — поэт. Родилась в Актюбинске (ныне Актобе). Автор книг стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004) и «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» (Билингва, Бруклин, 2019). Публиковалась в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (2003) и др. Живёт в г. Алматы.

<sup>1</sup> Карлыгаш — ласточка, одно из прекрасных женских имён (*казах.*).

В золе  
Создавалась Вселенная  
Искры сверхновых звёзд  
Рассыпались в дыхании танца жгли сухостой

Как стена в мир иной золотая живая стена  
А за ней духи предков из воздуха и огня  
Ближе-ближе подходят сжигающей полосой  
Остановила вдруг танец свой Карлыгаш  
И потухла земля  
И погасло лицо

\* \* \*

Снятся в комнате общей,  
Выныривая из грёз,  
В золотистой рубашке сын,  
В белом платье дочь,  
Дом, зачёркнутый лесом.  
Луна сдвигает в тёмную сторону  
Сумеречные весы.  
Ночь распластывается  
Под весом.  
Рядом рыщет сердце,  
Пульсирует и рычит —  
Окружили его толпой,  
Обнажили мечи,  
Жгут огнём.  
И ночь,  
Умирая днём,  
Забирает с собой  
Всех, кто снова приходит,  
И снова приходит,  
И снова,  
После того, как ушли насовсем.

\* \* \*

Расчёсывая седые волосы,  
Бабушка читает сказку,  
Вплетая нас, как бусины,  
В искусное полотно.

Мы выходим из леса,  
Держась за руки.  
Впереди камень.  
Направо, налево, прямо —  
Всё одно.

Правый глаз закрыт уже,  
Второй — держится.  
Голос вкрадчивей.

Полумесяцем  
Огоньки меж ресниц.  
Выбираем дорогу во сне.  
Вдалеке маячит что-то прекрасное.

Она переворачивает  
Последний лист.  
Щупает пустоту его,  
Как незрячая.

### *Алматы*

В лепестках горной яблони,  
будто в мелкую крапинку,  
дремлет лошадь на привязи,  
видит сны. Роща выносит  
тьму потомков. И яблоки,  
раздвигая материю  
разрежённого воздуха,  
уродятся огромными.

Небо проломлено.  
Яблоки капают  
внутри ручья.  
Рыбы текут  
вдоль реки.  
Условный дом  
поставила бы сюда,  
разбила бы сад,  
но осколки, когда всё бросаешь,  
чересчур глубоки.

\* \* \*

Под сумеречной сетью бьётся утро.  
Сползают с окон капли дождевые.  
Трещат сороки, разграбляя гнёзда.  
Всё, как тогда, но неудобно.

Блестят машины. Строй деревьев плотный.  
В них воробьи, несыгранные ноты,  
Качаются на оголённых ветках.  
За стол! — кричат из кухни. Смех и топот  
Стихают за порогом. Все живые.



В потоках речи глушатся слова —  
Не различить. Под дверью лужа света.  
Не помешать. Пусть посидят ещё,  
Пока молчат часы.  
Надеть пальто, уйти в промокший сад.

По капле дождь перебирает чётки,  
Под нос поёт знакомую молитву.  
В воде танцует клетчатая лодка  
С наивным капитаном из блокнота,  
И будто океаны впереди.

*Артемий Леонтьев*

## Рассказы

### *Интроверт-рецидивист*

Всю свою сознательную жизнь Мирон жил словно на глубине. Его внутренняя жизнь кипела, струилась, расцветала и благоденствовала — ему нравилось находиться наедине с собой, нравилось молчать, думать, читать книги. Нет, он не смотрел свысока на окружающих, просто любил литературу, живопись, кино, с интересом изучал историю, а для всего этого не нужны посторонние люди. Даже путешествовать Мирон любил в одиночестве, потому что так впечатления от поездки не размазывались в бескончаемых обсуждениях и восторгах, а накапливались внутри и вызревали, превращаясь во внутреннее содержание, энергию, знание и силу. Он просто не нуждался в компаниях, потому что все самые сокровенные радости, самые сильные всполохи счастья испытывал, когда никто не отвлекал его разговорами. Тем более что слишком многие люди предпочитают говорить сами с собой: о себе и своём. Всё новое и непохожее, непривычное, любая форма несогласия чаще всего вызывает у людей раздражение или даже агрессию. Встречались ещё такие, что использовали людей для собственного самоутверждения или как средство от скуки и одиночества, обожая распускать сплетни и плести интриги, или гадить на голову тем, кому ещё недавно жали руку и даже признавались в любви. Одним словом, исходя из своего опыта общения, Мирон в какой-то момент нашёл для себя именно этот уклад, жил уединённо и сосредоточенно и был счастлив, освободив свою жизнь от всего формального, отталкивающего и посредственного. Его жизнь основывалась лишь на том, что он действительно любил.

Мирон был коренным петербуржцем, то есть прям ленинградцем, даже петербуржцем-петроградцем, если можно так выразиться. Он не просто приехал в город пару лет назад и снял здесь квартиру, а потом стал всем говорить, что коренной с пристяжкой. И был даже не из тех, чьи родители перебрались сюда в 70—80-е XX века, а родился здесь и потому считает себя аборигеном. В этом городе жили его

---

*Артемий Леонтьев* родился в Екатеринбурге в 1991. Окончил Уральский Федеральный университет и Военный учебный центр им. Героя СССР Б.Г.Россохина. Учился в Литературном институте на Высших литературных курсах. Лауреат премии «Звёздный билет» (2019) и российско-итальянской премии Raduga (2021), финалист премии Лицей 2022 года. Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир». Автор романов «Варшава, Элохим!» и «Москва, Адонай!» («ДН», 2019, №№ 8,9). Составитель книги Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством».

бабушки-прабабушки-дедушки-прадедушки. В общем, до Мирона здесь ветвилось-гнездилося множество замечательных людей, бывших ему родственниками, которые хранили этот город, любили, страдали, воевали, голодали в блокаду, дружили, рождались, ссорились, созидали... По крайней мере, фамильное древо простиралось до их дальнего предка — мелкопоместного дворянина, вероятнее всего, переехавшего сюда из Москвы в 1746 году. Так что более коренным, чем Мирон, здесь был, пожалуй, только Пётр I. Но вопреки тому, что Мирон составлял неотъемлемую часть этого города и по мере сил хранил его с самого детства, он всякий раз смотрел на него как впервые, будто только что приехал, вышел с вокзала, озираясь по сторонам. Каждый дом, каждая улица были ему знакомы в той же мере, в какой человеку знакомо собственное тело со всеми его ямками, пятнышками, шрамами и морщинками, однако всегда он ловил себя на ощущении первого раза, когда снова отправлялся погулять по центру.

В этом состояла магия его любимого города, поэтому любая проблема Петербурга воспринималась как нечто личное: когда при губернаторе Бегунове на его глазах город стал зарастать горами мусора, — Мирону казалось, что этот мусор становится частью его личного пространства, как если бы кто-нибудь вывалил в его ванную комнату помойное ведро. В планы Мирона не входило жить среди мусорных куч, и он обращался в районную администрацию, а там ему объясняли, что конкретно этот мусор находится на границе районов и поэтому его не так просто убрать, ведь надо ещё найти ответственного за конкретно этот участок, так что вам следует звонить по этому и вот этому телефонам, написать претензию вот на этом сайте, и будет вам счастье. Позвонив десяти начальникам и заместителям, двадцати секретарям и помощникам, разместив претензию на сайте, Мирон ждал около двух месяцев, но мусор не исчезал, десять заместителей и начальников вместе со своими двадцатью секретарями не могли с этим мусором справиться, поэтому Мирон взял несколько мусорных мешков, резиновые перчатки и пошёл самостоятельно собирать бутылки, банки и прочее. Так что интроверт интроверту рознь: Мирон хоть и был себе на уме и жил в своём отстранённом мире, но при необходимости мог заткнуть за пояс любого экстраверта, даже самого деятельного и болтливого высокопоставленного чиновника.

Мирон всю жизнь учился, он получил два высших образования и теперь готовился к аспирантуре. Ему нравилось учиться. Благо, работал он удалённо, практиковал по скайпу как психолог и преподавал историю в качестве репетитора, поэтому пятидневка не обглаживала его жизнь, да и любимую девушку он до сих пор не встретил, не женился, не обзавёлся семьёй, хотя было ему уже тридцать пять; он вполне твёрдо стоял на ногах, и когда как не сейчас, казалось бы? Детей он хотел, но непрактичная природа требовала привлекать к деторождению ещё одного человека, желательно противоположного пола, и Мирон оставался бездетным холостяком, перед девушками робел и, как с ними знакомиться, не имел ни малейшего представления. Зато в силу всего этого у Мирона было много свободного времени и энергии, которую он сублимировал, делая свою внутреннюю жизнь еще более интенсивной.

Вот и сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих: утром он почитал несколько книг, потом весь день, с перерывами на перекусы, писал «Сказку про либералов, патриотов, европейцев и русских», а к вечеру засел за эссе «Основы ахимсы, по-новому сформулированные в христианстве». И всё шло как по маслу. Для полноты феншуя Мирон даже зажёл благовония. На часах почти полночь, и вот ему звонят в дверь. Друзей, как и девушек, у Мирона не было, в магазинах он ничего не заказывал, поэтому звонок, да ещё и столь поздний, удивил.

Он глянул в окружье глазка: там шевелился внешний мир — недружелюбный и жестокий. Мужчина и молодая женщина стояли перед его дверью и чего-то страстно хотели. Оба в чёрном, оба какие-то нервные, судя по тому, как переминались с ноги на ногу. Делать нечего, надо открывать.

— Ну что, попался?!

Женщина подошла вплотную, ещё шаг — и она бы оказалась в прихожей.

Мирон выпучил на неё глаза.

— Что, простите?

— Дошвырнулся, сукин сын! У нас есть видеозапись и свидетель!

— Я вас не понимаю. Вы кто вообще?

— Мы те самые! Хозяева! Которым ты насрать хотел! Надо отдать должное твоей меткости! Прямо чётко в капот попал. Ну ты тварь...

— Я ничего не понимаю.

— Вот, сюда смотри! Сюда!

Женщина достала телефон и включила запись, судя по ракурсу, запись сделана на камеру магазина, которая висит рядом с парадной.

— Мотри-мотри, шас будет. Чичас твои яйца прилетят. Ты нам весь капот изгваздал, гадёныш.

— Что за бред? — Понимая, что у женщины истерика и она не совсем адекватна, Мирон вопросительно посмотрел на мужика. — Вы меня знаете?

— Нет.

— И я вас не знаю.

— А у вас есть машина? — спросил мужик.

Он был более спокойный и этот вопрос был единственной фразой, которую он произнёс за всё это время.

Мирон отрицательно качнул головой. Периодически он сильно комплексовал, что у него к тридцати пяти до сих пор нет авто — слишком многие люди, особенно девушки и продавцы, официанты, бармены, менеджеры и прочие часто делали особый акцент на том, есть у человека машина или нет. Отсутствие машины почему-то всегда для них означало что-то очень серьёзное и непоправимое, уничижительно-непристойное. Ну как если бы, например, у человека отсутствовал нос или вместо ушей были половые губы. Вот и сейчас Мирон не стал озвучивать сей постыдный факт, а лишь ограничился кивком.

— А вас не смущает, что у меня нет мотивов кидать в ваш автомобиль яйца? Мы с вами незнакомы, конфликтов никаких не было...

— Вот мы и пришли, чтобы понять, зачем ты всё это сделал. Завтра мы идём в полицию. А сейчас зашли, чтобы для себя понимать, что ты за индюк такой... псих неадекватный!

От женщины исходило столько ненависти, она настолько близко стояла, что Мирону стало некомфортно. Он отвёл глаза, не зная, что ещё сказать этим людям. В любом случае, ощущение, что его окатили из чана с дерьмом, становилось всё более отчётливым, а заглядывать внутрь этого чана у Мирона не было ни малейшего желания.

— Вот! Вот. Что и требовалось доказать! Ты глаза отвёл! Это психология! Раз отвёл глаза, — значит, виноват!

Мирон посмотрел на женщину.

— Да просто от вас такая ненависть исходит, мне это неприятно.

— Тебе не отвертеться, ты будешь за ремонт капота платить. У нас есть видео!

— А на видео видно, что это я кидал яйца?

— Нет, конечно, но у нас есть свидетель. Он стоял на улице в этот момент и курил.

— А когда это было?

— Вчера в час ночи. И он видел, что яйца именно с твоего балкона летели.

— В час ночи? Это прекрасно. То есть какой-то левый мужик в час ночи сказал вам, что это я, и вам этого достаточно, чтобы обвинять? А вы не допускаете, что он мог ошибиться?

— Он был трезвый, он не мог ошибиться!

— Это сюр... это просто какой-то сюр. У меня нет слов. Хорошо, что он хотя бы трезвый был. Ну, по крайней мере, он вам так сказал.

— Завтра мы идём в полицию.

Мирон развёл руками.

— Это прекрасно, я очень рад за вас. Вы сейчас от меня что хотите?

— Мы просто нанесли дружеский визит.

— А, я понял. Ну круто, что... А со свидетелем я могу пообщаться?

— Зачем?

— Да так, в глаза любопытно посмотреть человеку...

— Нет, не нужно это...

Визитёры двинулись в сторону лифта, а обтекающий дерьмом Мирон стоял в распахнутых дверях, глядя им вслед, пытаясь найти какие-то слова, чтобы убедить этих людей в том, что он не виноват, но страстная убеждённость этой женщины в обратном, её ненависть, которую она испытывала к нему, — всё это обезоруживало. Будучи восприимчивым человеком, Мирон часто ловил себя на том, что практически невозможно оставаться самим собой с теми, кто к тебе враждебен, потому что любое твоё слово и действие будет искажено, ложно истолковано. Он замечал, что если в магазине охранники смотрят на него подозрительно и с вызовом, словно он что-то украл, то Мирону действительно хотелось что-нибудь украсть, чтобы не обманывать ожиданий. Вот и сейчас в нём дрожало то самое чувство. Он закрыл дверь и первое, что сделал, — подошёл к холодильнику. Открыв его, стал пересчитывать яйца: на верхней полке лежало шесть. Мирон попытался вспомнить, когда он готовил себе яичницу, — вспомнил, что сегодня утром, но вот из скольких именно яиц, он этого себе сказать не мог. В магазин Мирон ходил позавчера, это значит, что за два дня он израсходовал четыре штуки — либо это одна большая порция, либо он пожарил сегодня утром две штуки с луком и овощами, а вчера ночью — чисто теоретически — действительно мог бросить пару яиц в автомобиль этих людей.

Мирон пытался вспомнить, во сколько он вчера лёг спать. Обычно это бывало достаточно поздно. Вчерашний день не был исключением, — что-то около трёх ночи, может, даже в половине четвёртого утра, потому как проснулся поздно, почти в полдень. Мирон перебирал в памяти, чем конкретно занимался прошлой ночью, и без проблем вспомнил, что весь вечер перечитывал любимые рассказы Шукшина, Казакова, Юрия Петкевича и Шервуда Андерсона, потом слушал винил; кажется, это были пластинки польского композитора Хани Рани и один из альбомов Нильса Фрама, дальше он спустился за шавермой, которая оказалась несвежей, поэтому сблевал, после чего выпил пачку активированного угля и лёг спать. То есть до яиц дело как будто не доходило.

Мирон закрыл холодильник и стал вышагивать по квартире... Беспокойство нарастало. Ему невольно передалась уверенность женщины в том, что именно он

забросал их машину яйцами, поэтому сейчас Мирон думал, когда именно мог это сделать: во время чтения Казакова или после Нильса Фрама? А может, во время прослушивания Хани Рани? Или после рассказов Шукшина? Ну конечно... Конечно же! Шукшин был тот ещё хулиган. Определённо, Мирон мог начитаться его рассказов и устроить какое-нибудь скотство!..

— Так-так-так-так-так...

Мирон зашагал более нервно, заложив руки за спину, — он метался по квартире, как в клетке.

— Так-так-так-так-так... Вот сволочь!

Мирон резко остановился. По его восклицанию не было до конца понятно, кого он считает сволочью, — Шукшина, вдохновившего его на затею с яйцами, или себя, так безвольно поддавшегося на провокацию.

Тут Мирона передёрнуло.

— Ну это же бред! Бред!

Он схватился за голову и снова зашагал по квартире, думая, зачем ему это было нужно, как он, воспитанный и интеллигентный человек, мог взять два яйца, выйти на балкон и шурануть их в капот чужого автомобиля со своего восьмого этажа.

— Это же абсурд! Ахинея!

Мирон достал из морозилки литровую бутылку «Егерьмастера», налил себе рюмку и выпил. Подумал, что первая пошла очень хорошо, поэтому сразу же налил вторую. Снова выпил. Она зашла ещё лучше, в связи с чем плеснул третью, а та в свою очередь вообще оказалась магией в чистом виде, четвёртая уже немножко обманула ожидания, поэтому Мирон попробовал через пятую и шестую рюмки вернуть удовольствие первых трёх, и только на десятой понял, что свежесть алкогольного восприятия безвозвратно утрачена и теперь совсем не то, поэтому достал из шкафа стакан и тут же с горя его наполнил. Из-за того, что давно не пил, с пол-литра «егеря» его даже не развезло, ему просто шарахнуло в голову табуретом, но Мирон всё равно залпом проглотил целый стакан и понял, что будет лучше, если он всё-таки закусит. Шатаясь, подошёл к холодильнику, открыл дверку. Из еды были только яйца.

— О! Ша я себе яишечку забубеню...

Он стал набирать яйца в футболку, задрвав перёд, чтобы получилось что-то вроде мешка кенгуру.

— Ша закусим...

Когда все шесть яиц оказалось у него в футболке, Мирон пошёл почему-то не к плите, как планировал изначально, а на балкон, — и, открыв окно, стал вести прицельный огонь по прохожим. И надо отдать ему должное, несмотря на сильную алкогольную качку, попадал он хорошо.

## Мать

Дом стоял у пыльной дороги, со стороны казалось: вышел к ней, чтобы встретить кого-то, и всё стоит теперь — не дождётся, нетерпеливо вглядываясь в припорошенную пылью линию горизонта. Сама же дорога напоминала молчаливую степенную реку. Анастасия и Игорь Душины жили в этой простой неказистой обители уже лет двадцать, с самой ещё свадьбы. Обрасти детьми не удалось, возможно, именно поэтому в очертаниях бревенчатого одноэтажного строения было столько томительного ожидания. Раскидав всё по хозяйству, Настя обычно садилась у окна и поглаживала пустой

нерожалый живот: тянула руку к его прохладной коже, как тянутся обычно к засохшей коросте, чтобы расковырять её, или облизывают пустую лунку свежевыврванного зуба. Внимательно следила за проходившими мимо школьников: с утра, когда они, сонные, ковыляли на учёбу и смешно зевали, похожие на котят, а потом вечером возвращались, взъерошенные очередным днём своей жизни. При виде детей Настя переставала гладить живот, по лицу расплзались весёлые морщины. Когда школьники залезали к ним в сад и наклоняли крайнюю яблоню у самого забора, Настя наблюдала и радовалась, что они хрустят именно её яблоками: близкое ощущение, наверное, испытывает мать, когда младенец ёрзает на руках и лезет под майку, высвобождая кормящую грудь.

Игорь занимался грузовыми перевозками. Уезжал, бывало, на целую неделю. Из одной такой поездки и привёз Фирузу — молодую узбечку, смотревшую исподлобья. Сказал: теперь будет у них работать по хозяйству, у неё, мол, какой-то конфликт с близкими на родине, и она в России одна. Анастасия с удивлением оглядела восточную девушку, посмотрела на слишком уж старающегося не моргать мужа и опустила глаза. Зимой Фира жила вместе с хозяевами в доме, спала на кухонном топчане, а летом перебралась в деревянную баню. Рядом стоял сарай, в котором раньше держали куриц и корову, но потом от скотины как-то отохотились, подъели постепенно и продали. Сарай до сих пор полнился тёплым животным духом, хотя и сильно потускневшим. Игорь снова купил корову и куриц, а Настя постепенно свыклась с новой работницей. Тот почти угасающий запах животины, снова напитался обильными соками, густыми и жирными испарениями, стал концентрированным и горячим, как терпкий наваристый суп.

С закатом солнца Настя ревниво прислушивалась к затихшему дому, к сопящему рядом мужу, выжидая, когда он встанет и попытается прокрасться к Фирузе, но Игорь спал глубоко и прочно, а продежурив несколько ночей, так и не дождавшись измены, измотанная за день Настя стала проваливаться в сон, стоило едва коснуться подушки головой. Убедившись в верности Игоря, устыдилась своих косых взглядов, какими хлестала первое время ни в чём не повинную Фиру. Настя стала даже по-своему баловать её, пытаясь подсознательно через это оправдаться: то бусы ей подарит, то платок, то юбку.

Вскоре всё-таки проснулась в пустой постели: нервно вырвалась из сна, жадно заглатывая воздух, — приснилось, что горит дом, комнаты полны пламенем, а сама она задыхается от гари. Настя дёрнулась и вскочила, накинула поверх ночной рубашки халат. Вышла в жаркие пахучие сени, похожие на разопревший предбанник: маленькое квадратное помещение, заставленное сапогами, завешенное бушлатами и куртками, было настолько наполнено густыми запахами пота и снеди, душком старых, уставших от человека вещей, что воздух напоминал сивуху или рассол. Настя переобулась в резиновые сапоги и шагнула в прохладную ночь.

Ещё в сенях привыкшие к темноте глаза смотрели теперь по-кошачьи остро. Частое женское дыхание со стороны бани различила сразу, как вышла: эти вздохи ошпаривали. Настя остановилась у наваленных на стенку дров, рядом с которыми блестело маленькое прямоугольное окошко. Лунный свет плескался в нём, отливал вольфрамом и слоновой костью. Сиплый и влажный всполох двух трущихся друг о друга тел окружал баню громким сальным шёпотом, и от бани исходил жар, словно она была крепко запарена, а самый воздух вокруг, казалось, твердел и запекался поспевающим тестом. Заглянула внутрь: на дне окна боролись два обнажённых тела, они с силой сдавливали друг друга, терзали и ощупывали, словно пытались запомнить

вслепую и на ощупь, жадными руками хватали друг друга, как горячий печёный картофель, обжигаясь и отдёргивая пальцы, но не в силах оторваться, потом резко замерли и повернули к Насте свои тёмные лица — сразу стали походить на замурованных в куске янтаря насекомых. Настя с усилием отвела взгляд, как с гвоздя его сорвала, и ушла в сторону дома.

В эту ночь Игорь не вернулся в супружескую постель. Баня растерянно затихла. Рано утром Настя проснулась от шума захлопнувшейся двери грузовика и взревевшего двигателя: самого мужа не видела — только задние колёса и борт машины. Вскочила с постели, умылась, оделась и вышла на улицу, чтобы приступить к своим обычным домашним делам, но куда бы ни подходила, всё уже было сделано: в бочке для полива начерпана вода, грядки влажные и прибранные, саженцы подвязаны, дрова уложены возле печи, двор подметён, в сарае собран навоз да и кормушки полные. Когда столкнулись во дворе лицом к лицу, Фира виновато поджала к себе руки, обхватив грудь, смотрела на носки резиновых сапог Насти, не в силах поднять взгляд. Долго молчали, не шевелились, пытаясь преодолеть дискомфорт присутствия человека, который с сегодняшней ночи много дальше, чем просто чужой.

Настя хотела хлестнуть её по щеке, но не смогла поднять руки — казалось, тело стало грузным и неповоротливым, слепленным не по размеру, слишком большим.

«Я сама виновата! Пустота нашего дома — моя женская пустота!» — подумала Настя и ушла. Узбечка смотрела вслед, в её глазах разгоралась нотка презрения. Фируза увидела: хозяйка хотела ударить, но не ударила, а значит, испугалась. Восприняла поведение Насти как проявление слабости.

После этой встречи Фира осмелела: до этого всё утро где-то пропадала, боясь попасться на глаза, теперь спокойно вошла в дом, стала греметь кастрюлями и разогревать себе еду. Обычно не брала продуктов хозяев, во избежание попреков ела только то, что покупала сама, но сейчас намеренно взяла из половины Душиных. После завтрака Фира незаметно надела единственную дорогую вещь из гардероба хозяйки — её плащ, — а потом исчезла из дома. Этот приталенный французский плащ Настя очень берегла, его подарил супруг сразу после свадьбы, едва ли не на последние деньги выторговав у фарцовщиков в Ленинграде, куда они поехали на медовый месяц. Плащ ассоциировался у Насти с собственной молодостью и счастьем. Свадебное платье они брали тогда у знакомых, этой женской реликвии она не имела — рядилась в шкуру заёмной радости с фатой, которую пришлось вернуть подруге: так карета превращается в тыкву. Да и на фотографа тогда не нашлось денег, и нельзя сейчас полистать свадебный альбом, — один только этот плащ был у неё.

Фира вернулась под вечер вместе с Игорем. Вечернюю тишину взбудоражили бормотание и дребезг грузовика, затем визгливо скрипнули рессоры. Стоявшая у окна Настя увидела, как Фира идёт рядом с её мужем: расправив плечи, смотрит с вызовом, в её любимом плаще, и он ей к лицу точно так же, как когда-то, десять лет назад, был к лицу самой Насте. И она вдруг с ужасом поняла: её плащ и её муж гораздо больше подходят Фирузе, чем ей самой.

Когда дверь открылась, она стояла перед ними, словно пыталась заслонить дом, её лицо и пристальный взгляд заставили отпрянуть, как будто в руках у Насти было оружие. Игорь почувствовал: не она теряет его, как решил для себя с утра, понял, что сам безвозвратно утрачивает жену. Настя молча забрала у Фиры плащ и ушла в комнату: не потому, что не хотелось кричать, просто чувствовала: если скажет хоть слово, разрыдается.



Стемнело. Настя закончила с домашними делами, умылась и легла в постель. Игорь долго слонялся у дома, курил в саду, сплёвывал и шаркал, снова и снова ополаскивал окно своей тенью. Наконец, в сенях рассыпалась мелкая горсть его шагов, скрип двери, и Игорь шагнул в комнату. Настя притворилась спящей. Игорь несколько выждал, потом стал освобождать своё горячее нервное тело от одежды. Осторожно улёгся рядом, не касаясь её, — казалось, ложился не в постель, а в горячую воду.

Фира потеряла аппетит, потом стала есть за двоих, часто и громко жевала, разрывая пищу своими мелкими хищными зубами. Настя посмотрела на неё изменившимся взглядом, побледнела и чуть осела, уронив руки, — Фира ответила насмешливым прищуром, в её лице отчётливо вызрело чувство превосходства и нескрываемое презрение. Настасья вышла из кухни и отправилась к постели Фиры. В предбаннике появился новый запах, он стал более резким и телесным. Настя обнюхивала комнату, как таможенная овчарка, тыкалась носом в этот отяжелевший, чуть прокисший запах жирного молока и яичного белка, принялась перетряхивать корзину с грязным бельём, сама толком не зная, что пытается найти. В предбанник ворвалась Фира, с шипением бросилась на Настю, схватила за ворот и толкнула. Настя хотела пнуть её в живот, но одёрнула себя — подумала о ребёнке, Фира стала душить Настю, и в эту минуту в предбанник вбежал Игорь, растащил...

Игорь перенёс вещи Фиры в дом: изба была однокомнатной, поэтому Настя уступила постель беременной, а сама перебралась на кухонный топчан. Теперь, когда вся работа свалилась на неё одну, Настя едва успевала по хозяйству, заканчивая затемно. Она перебралась в предбанник, стараясь оградить рано засыпавшую Фиру от лишнего шума, заходила в дом только днём: прибраться, приготовить еды. Настя избегала появляться без повода, почти всегда натываясь на жёсткий колючий взгляд Фиры.

Роды прошли легко, младенец издал в доме свой первый крик, вторгся в мир его запахов и звуков. Фира назвала малыша Юсуфом. Глядя на ребёнка, Настя радовалась, будто он был её. Единственное, о чём мечтала, — приласкать, но Фира не позволяла. Настя любовалась крохой с другого конца комнаты, пока Фира пеленала, кормила и купала. Игорь пропадал целыми днями, чтобы больше зарабатывать. Через год Фира помирилась с родителями, и те потребовали вернуться в Узбекистан. По обрывкам разговора Настя поняла, что родители простили ей связь с женатым узбеком, нашли достойного жениха и предлагают стереть позор.

В одно раннее субботнее утро Настя вошла в избу и увидела в детской кроватке спящего Юсуфа, взбаламученную постель и как-то в раз опустевшую комнату, из которой исчезли все вещи Фиры. Игорь был на заработках. Из шкафа пропали все деньги, словно Фира забрала их в обмен на оставленного ребёнка. Настя подошла к детской кроватке, заглянула в неё своим тихим радостным взглядом и не удержалась: хотя малыш ещё спал, впервые взяла уже потяжелевшего мальчика на руки. Юсуф проснулся, но не заплакал, он прижался к Насте и обнял, кутаясь в её женское грудное тепло: зевающий, сонный и умиротворённый. Всё потягивался и дёргал ножками.

— Я твоя мама, — сказала ему Настя.

Вечером вернулся Игорь. Когда узнал, нахмурился, но, поглядев на счастливую Настю, отошёл — щетинистое лицо прояснилось, глаза потеплели. Они решили назвать мальчика Олегом.

---

*Диляра Юсупова*

## Три оттенка красного

*Триплет рассказов*

### *От автора*

Вот уже который год не могу найти красную помаду: красных — много, красивых красных — ни одной. Не кирпичный, не лиловый, не малиновый, и даже не рубиновый. Я называю её снежной, только никто не понимает, — это рябина в снегопаде скрылась белой пеленой, бликует себе потихоньку. Джойс рассказывал, как падает снег: «Погонули под ним города, улицы и крыши — и живые, и мёртвые». Но не на ту напали, рябина об этом не знает и всё глядит, горчит и пенится.

Для каждого из нас достаточно счастья, просто маскируется оно под разные оттенки. Говорят, белый — это отсутствие цвета, чёрный — совокупность всех. А красный... красный — цвет любви и крови, опасности и рассвета. Ассоциируется он с «жаром раскалённого металла и огня, что пульс в его присутствии учащается, а сердце выпрыгивает изнутри». Что наступает потом? Потом раздражение и апатия, потом мы просто выжимаем досуха мир из капсулы в надежде насытиться горькой рябиной, когда её вообще незачем рвать, достаточно просто любоваться на то, как смешна и прекрасна наша жизнь.

### *Клюква в сахаре*

Все рыночные палатки в лохматых 90-х были именно жёлтого цвета — выбор цвета до сих пор загадка похлеще тайны мадридского двора. Правда, уже потом, лет так через -дцать, мне говорили, что это неправда, существовали самые разные, но я-то помню только ярко-жёлтые, а значит, были только они. Напротив гастронома стояла именно такая со всякой вкусной всячиной, абсолютно бесполезной для большинства, но такой привлекательной для нас — детей. Сейчас я бы назвала этот ларёк «Маленькая Россия» — за занавеской лицом в снег, а над тобой ледяное небо и вечная

---

*Юсупова Диляра Ильмасовна* родилась в 1987 году. Окончила факультет русской филологии Казанского Государственного Педагогического Университета, Московскую Академию Медиаиндустрии, учитель русского языка и литературы. Автор сценария и режиссер х/ф «Бомж» (короткий метр). Работает корреспондентом на телеканале «Новый век». Живёт в Казани.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 12.

тоска, но там опять только леденцы да тульские пряники. Зачем мы там ошивались всё время? Ну чего мы там не видели, жалких вафель с варёной сгущёнкой? Не больно-то и хочется, но больно уж хотелось. За свою короткую жизнь мы успели попробовать немного, но больше, чем наши родители. Мы видели «Пепси», а это уже кое-что. Но среди этой ерунды была и самая заветная мечта — клюква в сахаре. Самый дорогой товар на прилавке — стоила она восемнадцать рублей (доллар тогда то ли четыре, то ли шесть), тогда как мороженое было за шестьдесят копеек—рубль, — и вот мы с сестрой клянчим на эту сладость, но всё, что мать может дать, — это два рубля, и что делать? Выбор между «кое-что» и «ничего» очевиден. Поэтому каждый день «кое-что» покупалось в палатке, а мечта просто грелась и ждала своей очереди.

В палатке работали две сестры: чёрненькая и чёрненькая. Обеим, как я сейчас понимаю, лет под тридцать, но когда деревья были большими, а люди до неба, девушка старше тебя, неважно на сколько, — тётенька. Чёрненькая и чёрненькая были близняшками — абсолютно одинаковые, но отличались: одна красивая, другая некрасивая. Объяснить этот парадокс определённо невозможно, но то был факт, и складывался он, вероятно, из личного восприятия. Одна была приветлива, мила и ослепительно счастлива, вторая — хмурая, замкнутая и носила краб. Мне кажется, что дело как раз в нём — в детских глазах собранные волосы обязательно проиграют распушенным.

Некрасивая была скупа на болтовню, не дарила жвачку просто так, сурово обдавала всех единственной фразой «брать будете?» и сухо протягивала товар. Мы хотели ей понравиться, мы честно пытались — заглядывали в глаза, предлагали угоститься, — она всегда устало отвечала: «Не надо». Без злости, сожаления и чувств. От чего ещё ты отказалась в жизни? От смысла? От веры в счастье? От знания, «отчего люди не летают так, как птицы»?

Сёстры менялись посменно, и мы, считая поодаль мелочь в кармане, так и говорили: «Сегодня красивая, поэтому завтра будет некрасивая». А это значит, завтра, скорее всего, не будет покупок. Была между ними невидимая конкуренция, которую мы поддерживали в сторону красивой — в уме считали очки и ставили, как и полагается, на распрекрасность во всех отношениях, будто на породистого скакуна, — считали, сколько покупателей были у той или иной в день, порой уговаривали прохожих не покупать у некрасивой (кто-то вёлся), жгли свечи, вызывали пиковую даму и выигрывали у самих себя.

Некрасивая не подозревала о злостном коварстве и интригах за спиной. А мы думали, может, кого из них подменили? Ну, не могло быть у некрасивой такой сестры — умненькой да ровненькой. Туфли, идущие всегда рядом, но разной судьбы, потому что одна всегда жмёт; как гимназистка и проститутка: «Ты всё ещё веришь в любовь?» — «А как же!»

Однажды я всё же накопила на мечту, — можно ли на мечту накопить? Почему бы и нет, если это клюква в сахаре! И вот, я несу скомканные восемнадцать рублей, собранные с обедов, а там... некрасивая. То ли это детская жадность, мелочность или просто скудоумие, но как не хочется делиться счастьем! Я решила, что должна эту радость разделить непременно с красивой, что я и сделала спустя два дня. Всё бы хорошо, да больше некрасивую никто никогда не видел: не выходила она на смену, не появлялась при закрытии и даже не проходила мимо. Никто, впрочем, не волновался, кроме меня. Если у тебя сердце как цветок, можно вообразить что угодно, и я вообразила: я начала подозревать, что близняшка догадалась о моей жадности и уверовала в это. Но оказалось всё куда проще и трагичнее. По двору расплозились слухи,

что некрасивая померла. Так вот просто — сохлась от злости и покинула бренный мир. Вот тогда мне стало худо — не то чтобы я слишком совестливая, скорее, тревожная: что же ты наделала, девочка бестолковая? Пожалела кусочек любви?

«Царствия ей небесного», — сказала соседка на пороге. Это так по-нашему — пороть чушь, когда не из чего достать. А в моём кармане клюква в сахаре, которая так и не дошла до правильного адресата — то ли она привиделась мне, то ли я ей. И эта глупая тётка со своим глупым «царствием» — это царапает.

Мне казалось, что это конец света, но конец концов, а жизнь по расписанию, и я, конечно, забыла о ней, как забываются сотни дорог, горьких лимонов и сладких ягод. И вот, спустя лет пятнадцать, а то и больше, я в магазине одежды в Москве на какой-то Бронной улице (я в них не очень разбираюсь) и примеряю то ли жакет, то ли блейзер (я и в них не очень разбираюсь).

— А вот этот будет жать в плечах, но точно впору, да... а этот болтается. Возьмите вот этот! Он ни то ни сё, — протягивает мне продавец.

Померила тот, что жмёт, и тот, что болтается, взяла ни то ни сё. А её я сразу узнала. Она носила краб, осталась печальной и стала красивой — не в классическом смысле, конечно, но определённо.

— Вы любите клюкву в сахаре?

Зачем я это спрашиваю? Время такое, душа моя, приходится слать письма на несуществующие адреса.

— Всегда терпеть не могла, хотите угостить?

— Хотелось бы, да того печального сада, где было, уже нет.

— Сад везде одинаково печальный.

Может, того и хотела? Быть печальной, неприбранной и забытой, как клюквенный сад? Что угодно могла я думать тогда о ней, о себе, своём грехопадении и будущем, которое так и не наступило, но только не то, что когда-нибудь в холодной Москве встречу с ней взглядом в примерочной, в собственном отражении, правда, одета она будет в ни то ни сё.

## *Куропаткины глаза*

Один обычный человек очень хотел стать необычным. Для заветной цели он много спал, мало брился и мечтал о великом, правда, мечты иногда прерывал Дед, с которым приходилось жить в маленьком доме

— Если завтра тебя смоем цунами, в мире сократится число парниковых газов, а больше не произойдет ни-че-го, — так Дед нарушал обычный уклад обычного человека.

Обычный человек сердился, но от мечты не отказывался. Когда ему исполнилось восемнадцать, Дед пришёл и сказал:

— Я старый солдат, не знаю слов любви. Поэтому свою любовь к тебе, внук, выражаю в виде своего дома, который ты обретёшь, как только я умру. Однако ждать придётся долго. Я ещё весел, могуч и не ссусь под себя. Травить меня бесполезно, — я два раза ел твою солянку.

Дед обещание сдержал. Прошло три года, а он был всё так же бодр, весел и могуч, да к тому же настырен. Однажды обычный человек проиграл деньги на ставках, за это Дед избил его поленом.

— Займись прямым делом: огород вскопай или там борщ свари.

---

*Михаил Малышев*

## Заказ

*Рассказ*

Мы встретились в холле отеля. Я посмотрел на Розу с некоторым сомнением. Высокая и грузная, на вид — лет за семьдесят. Под очками — зелёные глаза.

— Вы правда этого хотите? — спросил я. — Как говорится, любой каприз за ваши деньги, но хватит ли у вас сил на три часа?

— Уверена, как раз хватит, — сказала Роза твёрдо. — Вы понимаете, я так долго... Наверное, лет тридцать не была в Ростове. Хочу, чтобы вы его показали, а потом сфотографировали меня рядом с одним домом. Если, конечно, мы его найдём.

— Обязательно найдём. Я прекрасно знаю город.

— Мне даже не столько фотограф нужен, сколько провожатый. Я, как вы, наверное, заметили, уже немолода и ходить одна просто боюсь.

— То есть вам нужен универсальный проводник, — улыбнулся я. — Что ж, вы по адресу. Не волнуйтесь, мне всё объяснили.

Позавчера её дочь, Зоя, нашла меня в сети. Мы беседовали с ней почти час, пока не обговорили все детали. Это был необычный заказ, ведь, как правило, я снимаю портреты и репортажи.

Мы вышли из отеля и медленно пошли к автобусной остановке. Идти быстро Роза просто не могла. Я предложил взять такси, но нет, она стояла на своём: хочи пройти, и всё тут. Пошли по теневой стороне — был самый разгар лета, и утром солнце уже припекало.

По дороге Роза рассказала мне свою историю.

Она выросла в Ростове, а точнее, в его районе — Нахичевани. После школы уехала в Москву, поток жизни закрутил её, как лепесток, понёс на север. Вернулась в Ростов только в девяностых, буквально на пару дней — хоронила отца.

Мы шли по городу.

— Вот здесь же был магазин со смешным названием «Масло-сыр», — сказала Роза. — Я помню, когда-то здесь были восхитительные молочные коктейли.

— Да, их взбивали в больших алюминиевых стаканах, — улыбнулся я.

---

*Михаил Малышев* — фотограф-портретист. Родился в 1975 году в Ленинграде. Автор книги «Считай и богатей. Финансовые аксиомы предпринимателей» в соавторстве с Ириной Екимовских (2023). Участник проектов АСПИР. Живёт в Ростове-на-Дону. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— На другой стороне был когда-то кинотеатр «Буревестник». Там частенько крутили вестерны.

Лучше не ловить прошлое за хвост, но люди всегда хотят это сделать. Почему — никогда не понимал, даже когда бежал за этим хвостом сам.

Иногда импульс такой мощный, что противиться просто нет сил.

Себя я считал человеком разумным и рациональным, к ностальгии не склонным. Но однажды под Новый год отправился в другой город, чтобы найти девочку, с которой дружил в пионерском лагере. В двенадцать лет я даже в неё влюбился. На что я рассчитывал двадцать лет спустя? Все эти годы я ни разу её не видел, не перекинулся с ней ни словом. Наша переписка, как это часто бывает, заглохла сама собой. Но каким-то чудом в памяти всплыл её адрес, имя — Лена, и я поехал. Это был странный поступок. Но ведь поехал же?

Что-то похожее, видимо, случилось и с Розой. Но не совсем.

Мы шли по Ростову и вспоминали, каким тот был в советское время. Конечно, говорили мы о двух разных городах. Ростов её детства жил в шестидесятые, годы оттепели и достатка. Мой — в середине восьмидесятых. Тогда здесь уже не жировали. В продуктовых магазинах — шаром покати.

Для Розы молочный коктейль был чем-то привычным. Для меня — лакомством.

Общим было то, что оба этих города, увы, безвозвратно исчезли.

Нахичевань всегда казался отдельной вселенной. Когда-то её основали армяне-переселенцы. Сначала это был город, который вырос прямо под боком у Ростова. В 1929 году их объединили, Нахичевань стала частью города. Здесь до сих пор много маленьких, почти деревенских домов.

— Дом, который мы ищем, небольшой, но добротный, построил ещё мой прадед-ассириец, — рассказала Роза по дороге. — Я не знаю, чем он занимался до революции, наверное, был мелким торговцем. После смерти папы мы продали дом, удивительно, что его не снесли. Знаете, это же просто чудо: мы с дочкой смотрели по картам в сети, и вот он, на месте! Я так обрадовалась, ведь вместо него запросто могли вклеить какую-нибудь многоэтажку.

Вот что её подтолкнуло, подумал я.

Мы неспешно шли по тихой тенистой улочке. Тротуар был залит асфальтом, и время оставило на нём кратеры. Иногда Роза спотыкалась, и я поддерживал её за локоть. Когда-то здесь были окраины старой Нахичевани. Теперь — почти центр города, и его заполняли уютные домики. Трёхэтажка здесь смотрелась небоскрёбом. На многих домах сохранилась лепнина, мускулистые атланты поддерживали маленькие балкончики. Стены оплетал дикий виноград.

Роза радовалась этим домам, как старым знакомым.

— А вот в эту школу я ходила, — сказала она, когда мы шли мимо жёлтого здания. — Мама работала здесь учительницей. Я родилась, а через месяц она уже вышла на работу. Но мне, как учительской дочке, в школе никаких скидок мне не делали.

Она помолчала немного.

— В одном дворе со мной жила армяночка, Офелия. Не знаю, почему её так называли, вряд ли её папа читал Шекспира, — продолжила Роза. — Мы и в классе одном учились. Когда она поступала в институт, там на подкурсах был один кубинец, красивейший парень. Он в неё влюбился, позвал замуж. А отец Офы был приёмщик стеклотары. Семья свой достаток тщательно скрывала, в шестидесятые высовываться

было чреватое. Но они были зажиточными. И отец Офелии твёрдо сказал: никакой свадьбы. Она, бедная девочка, конечно, плакала, терзалась, но потом вышла за мальчика из богатой семьи. Кого ей папа привёл, за того и вышла.

— А где вы встретили мужа?

— Я ведь уехала поступать в Москву. Когда закончила, то по распределению попала в Мурманск. Вот там с мужем и познакомилась. Он у меня был человек активный. Мы ездили на Кавказ каждое лето, и в горы с ним ходили, и по рекам сплавлялись. Жалко, год назад умер. Вирус проклятый. Я тогда подумала — сколько ещё мне жизнь отмерила? И решила сюда приехать.

Судя по номерам домов, мы находились уже где-то близко.

— О, вот же он, — сказала Роза. — Я его узнала.

Это был частный дом, в один этаж и не сильно широкий. На улицу выходили три окна. Кладка была старая, кирпич не советский бодро-оранжевый, а цвета варёной сгущёнки. Пространство под окнами было выложено замысловато-узорчато.

Вход во двор — закрыт зелёными железными воротами.

— Раньше во дворе стояли ещё два домика, — сказала Роза. — Флигель, в нём жил Николай Филимонович... И ещё один домишко, тоже прадед строил, его продали когда-то семье Офелии. Они же потом наш дом и купили в начале девяностых.

Я достал камеру и сначала снял сам дом, а потом сделал пару кадров с Розой.

— Этого железного забора здесь раньше не было, — сказала она. — Жаль, мы внутрь не попадём.

— Почему это не попадём? — возразил я. — Сейчас всё устроим!

Репортёры — наглые ребята. Без этого в нашем деле никуда. Хотя по мне и не скажешь, я тоже немного наглый. Подошёл к двери. Звонок был допотопный. Кнопка испачкана в зелёной краске. Я позвонил. Постучал пару раз в окно.

Во дворе слышались шаги. Засов заскрипел. Дверь осторожно приоткрылась, и мы увидели мужчину. Примерно моих лет, худой, горбоносый, чёрные волосы почти до плеч. Расстёгнутая рубашка с коротким рукавом открывала впалую шерстистую грудь. Мужчина выглянул в щель между крашеным металлом, тонкая вертикальная картина в зелёной раме.

— Бог в помощь, — начал я.

— Вы что, Свидетели Иеговы? — скривился он и начал прикрывать дверь. Щель моментально сузилась.

— Нет, что вы. Тут такое дело: это — Роза, раньше она жила в этом доме. Тридцать лет не была в Ростове. Сейчас здесь проездом, вот и решила заглянуть. Можно нам ненадолго во двор зайти? Просто посмотреть.

Мужчина решил, что старушки можно не бояться, и впустил нас. Кроме рубашки на нём красовалось заношенное трико, как в старых советских фильмах, с растянутыми коленями.

Он, наверное, из особенных, подумал я, потому что в лице его была какая-то едва уловимая странность, по которой сразу вычисляешь божьих людей. Мне понравилась его расслабленность.

Той зимой, когда я приехал к Лене, её соседи встретили меня довольно сурово. Трёхэтажка барачного типа стояла рядом с заводом. Раньше в таких домах селили рабочих, чтобы были всегда под рукой.

Я с трудом вытянул из соседей, что Лена с семьёй здесь не живут уже лет как пять. Куда они переехали, никто не знал. На моё счастье бабулька с первого этажа оказалась

## «Свой обретая взмах»

*Участники Мастерской АСПИР в Нижневартовске (2024)  
на страницах «ДН»*

*Максим Сергеев*

### И всё вокруг живое

\* \* \*

Сияние. Так трудно отпустить  
Мгновение восторга и озноба.  
Душа и дух соединили оба  
Намеренья: и умереть, и жить.

Так просто и так страшно. Говори,  
Я буду слушать и молчать, покуда  
Не возродится тишина внутри  
От сопричастности к рождению чуда.

\* \* \*

Здесь тишина и снег  
Из тучек переменчивых.  
Здесь слово — человек —  
Звучит совсем застенчиво.

Он гость, он приживал  
Среди камней и хвои.  
Здесь не раздуть чувал,  
И всё вокруг живое:

Курумник и ветра.  
И кто-то смотрит сбоку,  
Как есть, сама гора —  
Седло немого бога.

Захочет говорить,  
Тогда буран и стужа.  
И радость, изнутри  
Летящая наружу.



\* \* \*

Звёзды на небе и на воде,  
Трётся вода о мостки.  
Я в этой тьме — везде и нигде,

На расстояньи руки  
От этих звёзд и своей немоты  
Точкою с красной строки

Вызревшей. Так остаются следы  
На этом Млечном Пути  
Жизни и света среди темноты.

\* \* \*

Падает снег на снег

*Д. Мурзин*

Я вышел слушать снег —  
Молчит холодный снег,  
Лежит холодный снег,  
И нет ему предела.

И падает, кружит,  
Летит холодный снег,  
Звенит холодный снег,  
Окутывает тело.

Лежу или стою?  
Молчу или кричу?  
Летит холодный снег,  
Лечу ли я сквозь время  
Что есть силы?

Я вышел слушать снег  
В отцовом зипуне —  
Четырнадцати лет  
Верзила.

*Екатерина Калугина*

## ЕДИНЫМ СТЕЖКОМ

\* \* \*

Тянусь к тебе,  
Как тянутся к корням  
Сухие ветки  
И пылинки к коже.  
Все скошенные травы впору нам:  
Мы оживим их соком, станем тоже  
Конечными, а значит, не умрём.  
А значит, наши лица станут мхом  
И будут по ночам водить губами,  
Ошупывая сонно влажный холм.

\* \* \*

Поболит-поболит и пройдёт, —  
Это кто-то сказал на досуге,  
У кого были связаны руки  
От житейских невзгод.  
  
Всё проходит: и сон, и зима.  
Скоро станция, где молча сходят  
Белой стаей по небу — по году —  
(Птичьим крестиком, пущенным в воздух)  
То один, то другой.

Обернёшься, а ты не один:  
Все мы вшиты надёжно и крепко  
Рядом пуговиц на жилетке  
И единым стежком.

\* \* \*

Заучить твоё имя по нежному творогу сна,  
Через марлю отжать дымку первого воздуха-тока.  
Пусть утонет бороздками шпал горемыка-вокзал —  
На ладонях останется белое крошево смога.

---

*Калугина Екатерина Романовна* — родилась в 1995 году в г. Екатеринбурге. Филолог, журналист. Пишет стихи. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Аврора» и др. Победитель литературных конкурсов. Участница Мастерской АСПИР (Нижневартовск, 2024) и др. Живёт в г. Екатеринбурге.

Беглой прописью встать и стоять на стене — Я. Л. Ю.  
Рядом в голос работу и дом мужики распивали.  
Седина убаюкает память, но я не смогу  
Перестать повторять. Бормотать одержимо едва ли

Смогу перестать. Если в воду концы,  
То и те — не потонут, две баночки мы жестяные,  
Водомерки колючие, одинокие близнецы.  
Так и снимся друг другу по имени, как живые.

\* \* \*

Вернуться в рай игрушечный, бумажный,  
Где воздух — сахарный и крошится от жажды.

Где на верхушке мира — на ветвях  
Качаешься, свой обретая взмах.

Небоходимый маленький и юркий —  
На маминых дрожжах, на папиных слезах.

*Мария Александрова*

## Поодиночке

\* \* \*

Всё, что мы с тобой делали, — славили Бога  
И Его бесконечную жизнь.  
Смотрели друг на друга, а видели Его величие:  
Нежную наготу проступившей смолы,  
Спокойное торжество туманного холма,  
Тихое блаженство заброшенного моста в лесу.

Теперь тоже славим, только поодиночке.

---

*Александрова Мария Александровна* — родилась в Челябинске. Пишет стихи и прозу. Работает копирайтером. Участница Школы писательского мастерства Фонда СЭИП (2022), Литературной резиденции АСПИР (2022, 2023), семинара АСПИР в Нижневартовске (2024) и др. Финалистка международной поэтической премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2023). Живёт в г. Челябинске.

\* \* \*

И привидится рядом твоя щека,  
Невозможная в кухонной этой пустыне.  
Сначала потереть, как запотевшее стекло,  
Только потом поцеловать.  
И привидится здесь же твоё плечо —  
Так вот куда клонится моя голова.  
А я думала, просто падает в никуда.

\* \* \*

Люблю, когда в храм  
Приходят те мужчины, крепкого возраста и вида,  
Которых каждый день видишь в автобусе, —  
И не подумаешь, что едут в церковь —  
И встают между служительницей храма  
И старушкой, знающей каждую икону.  
Сжимают тёмные шапки,  
А сами светлеют на глазах.  
Лица их обманчивы:  
Такие можно увидеть и на стенде «Их разыскивает...»,  
И в заметке «Ценой жизни спас человека».  
Они — те, кто забирает из роддома,  
Кто кладёт доску посередине лужи.  
Они тащат больше своего веса,  
Иногда мечтая всё бросить.  
В них столько мощи, что как бы не занесло,  
Узнай они о ней.  
Но стоят здесь, обнажив головы  
Перед силой, которая выше.  
Потом снова надвинут шапки  
И уйдут в ноябрьскую стынь  
На свою извечную пахоту.

\* \* \*

Хочу нырнуть в советскую мозаику.  
Занять маленькое место рядом с космонавтом,  
Касаясь его квадратного плеча.  
И, стоя лицом к толчее улицы,  
Видеть только вечность.

*Тонино Гуэрра*

## Пепел

*С итальянского. Перевод Алёны Панфиловой*

### *От переводчика*

*Так случилось, что в тот памятный день, день 11 сентября 2001 года, я пришла к Тонино Гуэрре. Увидев меня, он закричал: «Елена, скорее иди, переводи, что они говорят», — схватил меня за руку и потащил к телевизору. На экране раз за разом самолеты врезались в нью-йоркские небоскребы. Не один час, не веря своим глазам, мы не могли оторваться от зрелища оседающих башен-близнецов, бегущих в панике людей, негритянки, кричащей «My God!».*

*Когда я уходила, Тонино Гуэрра подарил мне свою книгу *Senere* («Пепел»). И только прочитав ее, я поняла чувства автора, предвидевшего последствия подобного безумия. Эта небольшая книга рассказывает о мире, пережившем атомный Апокалипсис; это история возрождения человечества и жизни после чудовищного катарсиса, возвращения от тьмы к свету.*

*Своими стихами и прозой Т.Гуэрра неоднократно пытался убедить читателей, что сама мысль о войне преступна, в том числе и в романе «Параллельный человек» (1968), в основу которого легли впечатления от его поездки в Америку с М.Антониони для съемок фильма «Забриски поинт»; герой романа видит «чудовищный котлован, на дне которого воздвигали фундамент Торгового центра».*

*Однажды Тонино Гуэрра сказал, что наша земля сказочно прекрасна и если мы дадим ей погибнуть в атомной войне, нам этого никогда не простят (если только будет кому не прощать). «Пепел» был написан в 1990 году — в течение десятилетия эта возможность выглядела маловероятной. Но теперь, после целого ряда чудовищных терактов, опасность стала вполне реальной. И «Пепел», к сожалению, звучит актуально.*

*«Пепел» — это короткая трилогия, произведение необычного, оригинальнейшего жанра, сплав прозы, поэзии и киносценария. Мы видим перед собой неутешительную картину: вся земля покрыта радиоактивным пеплом, видны лишь вершины пирамид, купола Василия Блаженного да шпили небоскребов. Однако глубоко внизу, на нижних этажах небоскребов, погребенных под громадным слоем пепла, осталась в живых кучка людей. Тонино Гуэрра пишет о том, что им помогает выжить в этих невыносимых условиях: цветение вишни, полет бабочки, звуки музыки, стремление увидеть закат солнца...*

## Рассказ первый

### *Планета пепельного цвета*

Планета Земля — это шар, покрытый пеплом и обломками. Она совершает свое непрерывное путешествие, окруженная безутешными голосами, которые звучат то на русском языке, то на американском. Возможно, это астронавты, затерянные в пространствах, которые не знают, где и как приземлиться. Эти люди единственные, кто видел, как горели леса Амазонки и как воды от растаявших льдов обоих полюсов хлынули на континенты, протаскивая между небоскребами Нью-Йорка китов и увлекая слонов в открытое море. Потом всё стало паром, и голубизна воды растворилась в небе, а прах животных и городов превратился в пыльные осадки.

Небо пересекла старинная колесница, запряжённая лошадьми. Ею правил молодой человек, окружённый друзьями. Они неслись по небу на этой светящейся колеснице. Один из молодых людей повернулся, чтобы крикнуть другим: «Слишком близко... Мы прошли слишком близко!» — «Не бойся, Фаэтон. Аполлон даже не заметит». — «Я попросил у него колесницу Солнца на один день и за один день сжёг леса, города и высушил все моря Земли». — «Твой отец простит тебя».

Колесница исчезает в небе, крики на греческом языке растворяются в воздухе, и вновь слышны голоса русских и американских астронавтов, которые не знают, где теперь приземляться, потому что Земля погибла от атомных взрывов.

### *Высохший океан*

Перед нашими глазами громадное пространство земли, покрытой тёмным шлаком и ракушечной пылью. В неё наполовину погружён деформированный остов трансатлантического корабля, с которого доносятся скрип и скрежет от качающихся якорей и кусков жести, свисающих с палуб.

В океане грязной земли виднеются мачты и других погребённых кораблей, на которых кривые реи безнадежно размахивают флагами...

...Москва — это огромная площадь, красная от раздробленных кирпичей, над которой возвышаются только купола собора Василия Блаженного. Тут и там плавают осколки белого мрамора...

...Африку можно узнать по вершинам пирамид, торчащих из земли, на которую пролился дождём шлак и черепки посуды из терракоты и керамики...

...Из моря сухого растрескавшегося ила выглядывают последние этажи самых высоких небоскрёбов Нью-Йорка. На поверхности земли, ровной и затвердевшей, валяются два рваных шерстяных носка: один чёрный, другой красный. Кажется, что они смотрят друг на друга издали.

### *Три старые фотографии*

Увлекаемые легким ветерком, который, однако, не может поднять пыли, три карточки катятся по бесконечно большому песчаному пространству. Это, конечно, пустыня. Только эта часть мира осталась такой же, какой и была, несмотря на жар воздуха тех дней, когда цепь атомных взрывов погасила растительную и животную жизнь. Песок сохранил свой обычный цвет и вид. Открытки продолжают своё движение. Мы понимаем, что это старые фотографии, которые ветер принёс Бог знает откуда.

### *Осколки*

На песчаных барханах вокруг вершин пирамид, торчащих над поверхностью земли, валяются черепки посуды, которые, на первый взгляд, вызывают ощущение вечной неподвижности, но затем они, то ли потому что соскальзывают по склону, то ли потому что, притягиваются своей магнетической силой, сближаются, чтобы соединиться друг с другом.

В какой-то момент, хотя и не ясно, и не точно, но в определённом ракурсе мы видим почти восстановленное блюдо из терракоты...

...А вокруг куполов Василия Блаженного, которые возвышаются на Красной площади, скапливаются осколки мрамора, составляя нечто, похожее на капитель.

### *Любовное свидание в Нью-Йорке*

На просторах сухого ила, рядом с макушками нью-йоркских небоскрёбов, два рваных носка, подталкиваемые ветром, кажется, хотят коснуться друг друга, но вместо этого проходят мимо и останавливаются на некотором расстоянии.

Нитка чёрной шерсти, торчащая из носка, движется по земле, стремясь добраться до красной нитки, которая ползёт ей навстречу. Когда две нитки сближаются, они встают на дыбы, как змеи, которые готовятся к атаке. Они смотрят с вызовом, но сразу же падают без сил на землю, разочарованные встречей. Потом снова гордо поднимаются, чтобы посмотреть друг на друга. Кончики ниток едва соприкасаются и тут же расходятся. И так не один раз. В общем, они имитируют любовное свидание со всеми присущими ему играми, намёками и непременными ласками. Затем обе нитки сплетаются и движутся, как будто танцуя под один из многих исчезнувших мотивов и ритмов. Они танцуют до тех пор, пока постепенно не останавливаются и не замирают в желанной неподвижности.

### *Буря*

Неистовые вихри ураганного ветра поднимают в воздух пепел, превращаясь в пыльную бурю. Кое-где в густой пыли, которая поднимается вплоть до стратосферы, видны лоскуты тканей, извлечённые из земли или появившиеся Бог знает откуда. Это клочки американских, русских, французских, японских и других флагов, они продолжают свой бесполезный и отчаянный праздник, как будто машут в приветствии пальцами, оторванными от множества рук, их сопровождает мешанина звуков национальных гимнов, рассеянных в гуле урагана. Иногда прорываются крики «ура!», «кругом марш!», военные команды, голоса людей, которые заглушаются свистом ветра.

Затем пепел и шлак, поднятые ветром, возвращаются, чтобы осесть на поверхности земли, исковерканной землетрясением, покрытой буграми и провалами. Появляются новые, скрытые раньше, предметы, на которые лёг слой пыли, это придаёт пейзажу новый вид. Большие капли дождя ныряют в рыхлую почву и омывают покорёженное железо. То, что кажется стеклом, плохо вставленным в выбитую раму, оказывается длинным зеркалом, прикрепленным к створке шкафа, которая наполовину вогнана в землю.

В зеркале появляются образы, сохранившиеся в памяти этой старой вещи, служившей нескольким поколениям людей. Появляются размытые лица и фигуры

*Мухамметгулы Амансахатов*

## Единение со Вселенной

300-летний юбилей великого туркменского поэта Магтымгулы Пырагы (Махтумкули) внесён в Список знаменательных дат 2023—2024 годов для совместного празднования с ЮНЕСКО и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). ЮНЕСКО включила в Международный Реестр «Память мира» коллекцию рукописей Магтымгулы Пырагы, представленных Туркменистаном.

2024 год назван по стихотворению Председателя Народного совета Туркменистана, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Кладезь разума — Магтымгулы Пырагы».

Поэзия великого Магтымгулы Пырагы (Фраги) — драгоценное духовное достояние туркменского народа. Пырагы — как в России Пушкин, родившийся на полвека позже, и как его современники в Европе — Гёте, Байрон и Гюго, — основоположник национальной литературы на Востоке. Его мудрые стихи, понятные и простым чабанам, и академикам, волнуют до сих пор.

Магтымгулы Пырагы — поэт, философ, суфий — родился в селе Хаджыговшан, расположенном в предгорьях Копетдага, в долине реки Гурген. О дате его рождения и смерти спорят до сих пор. По уточнённым сведениям поэт жил в 1724—1807 годах, и все юбилейные торжества в Туркменистане ориентируются на эти даты. Большую часть жизни Пырагы провёл в Этреке, Гургене, Гаррыгале (ныне село Магтымгулы). В стихотворении «Друзья! У меня любимая есть, живёт она вдали...» есть точные данные о его происхождении и родных местах:

А дни идут, и пройдёт весна, а мне не расторгнуть сна;  
Хочу я глаза открыть, увы, свинцом они затекли.  
Коль спросят путники про меня, скажите, лицо клоня:  
«Гоклен он родом, с Атрека он, а имя — Магтымгулы».

*(Перевод Георгия Шенгели)*



Воспитание и начальное образование Магтымгулы получил дома и в сельской школе (мектебе), где преподавал его отец, поэт и мыслитель Довлетмаммет Азади, чьи стихи из книги «Вагзы-Азат» сын знал наизусть. По книгам из домашней библиотеки Магтымгулы научился читать по-персидски и по-арабски, знал наизусть народные сказки и песни, притчи и газели. Овладел ремёслами: шорным, кузнечным и ювелирным.

В 1754 году Магтымгулы продолжил образование в Бухаре, в медресе Гогелдаш. Там он познакомился и сблизился с образованным туркменом из Сирии по имени Нури-Казым ибн Бахар, носившим духовный сан мавлана — толкователя законов шариата. Они вместе путешествовали по странам Средней Азии, пересекли Афганистан и дошли до северной Индии.

Много позже полюбивший странствия Магтымгулы посетил полуостров Мангышлак и Астрахань, где жил подолгу в селе Фунтово.

В 1757 году он прибыл в Хиву, чтобы продолжить образование в знаменитом медресе Ширгази, где учились юноши, отмеченные ханской милостью.

В 1760 году, проучившись три года, Магтымгулы вынужден был вернуться домой — умер отец:

Тобой воспитанный, тобою просвещён,  
Я собираюсь в путь, печалью удручён:  
Отца я потерял — Каабы я лишён.  
Прощай, науки дом, прекрасный Ширгази!

(Перевод Льва Пеньковского)

На родине юношу не обошли и другие трагические потери: двое старших братьев попали в плен и погибли, а любимую девушку Менгли выдали замуж за богача. Скорбь по братьям, тоска по любимой не отпускали поэта, написавшего в эти годы много прекрасных стихов.

В мире есть красавица одна,  
Словно двухнедельная луна;  
Родинка её насурьмлена, —  
Кто с моей избранницей сравнится?

На земле моя Менгли жила,  
Обожгла мне сердце и ушла.  
У меня в груди её стрела.  
Где она? Какой звезды царица?

(Перевод Арсения Тарковского)

Магтымгулы писал под псевдонимом Пырагы (Фраги). Псевдонимы отца и сына — Азади и Пырагы — близки по смыслу: *azade* с фарси — свободный, *парыг* с арабского — разлучённый, подразумевая разлуку с любимой Менгли. Личная жизнь поэта не сложилась: несчастливый брак, смерть двух любимых сыновей.

Магтымгулы всё глубже погружается в поэзию и всё чаще обращается к Всевышнему. Главная идея суфизма, владевшая умами средневековых философов и поэтов, — очиститься от всех грехов бренного мира, стать свободным и соединиться с Абсолютом. Пырагы любил читать свои стихи — бейты, газели, рубаи и касыды —

в народных собраниях и на свадьбах. Широта тематики и высокое поэтическое мастерство создают трудности в определении: какие стихи и в каком возрасте были написаны Пырагы. Он много пишет о Родине, о своём героическом, трудолюбивом и терпеливом туркменском народе.

Единой семьёю живут племена,  
Для тоя расстелена скатерть одна,  
Высокая доля отчизне дана,  
И тает гранит пред войсками Туркмении.  
Здесь братство — обычай и дружба — закон  
Для славных родов и могучих племён,  
И если на битву народ ополчён,  
Трепещут враги пред сынами Туркмении.

*(Перевод Арсения Тарковского)*

Вместе с талантливыми современниками, среди которых поэты Довлетмамнат Азади, Нурмухаммет Андалып, Гурбаналы Магреры, Абдылла Шабенде, Шейдаиы, Магтымгулы создал литературную школу Пырагы. Вместо традиционной арабо-персидской метрики он обратился к силлабической системе.

В XIX веке дело Пырагы продолжили младшие поэты: Молланепес, Мамметвели Кемине, Гурбандурды Зелили, Сейитназар Сейди и Аннагылыч Матаджи — яркое созвездие имён, вспыхнувшее на туркменском небе.

Магтымгулы, прожив долгую и плодотворную жизнь, умер в возрасте восьмидесяти трёх лет. Его похоронили рядом с отцом в Голестане (Иран).

Большая часть поэтического наследия Магтымгулы не сохранилась. В нашем распоряжении находится около 600 стихов и — ни одного рукописного оригинала.

Известный русский ориенталист академик В.В.Бартольд утверждает: «Среди тюркских народов с таким национальным поэтом, как Магтымгулы, только туркмены».

Знаменитый киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов прославлял Магтымгулы восторженными словами: «Я говорю *наш Магтымгулы*... именно на туркменской земле возник и возвысился в Средней Азии гений туркменской литературы, свет которого освещает нас — соседние братские народы. В этом смысле XVIII век в Туркестане — это век поэзии Магтымгулы».

Поэт говорил на языке, близком к разговорному и понятном не только туркменам разных племён, но и другим тюркоязычным народам. Язык Магтымгулы — эталон чистоты и выразительности, что гарантирует туркменам сохранность национальной идентичности. И современные туркмены часто ссылаются на мудрость Магтымгулы: «Как говорил отец наш Магтымгулы...»

Что больше всего волновало Магтымгулы? — Справедливое государство и справедливый правитель — вот главные проблемы Востока. Туркмены были в отчаянии от того, что сильно разобщены и собраться всем за одним дастарханом невозможно.

Фраги недугом истомлён:  
Объединителя племён  
Прихода благостного он,  
В Туркмению влюблён, желает.

*(Перевод Арсения Тарковского)*

Мечты и чаяния превращались в реальность только в стихах Магтымгулы.

### *Несокрушимое*

Знай: то, что в главном создал я, то вечно, как луна,  
Навеки вольная моя туркменская страна.  
Покой забудем, если враг к нам стукнет в ворота,  
Туркменов крепость — это, знай, из стали крепость та.  
Сам Сулейман, Рустем, Джемшид грозили ей мечом,  
Сто тысяч шах слал каждый день бойцов — всё нипочём.  
Она пример горам, когда подымет воин щит,  
И каждый взмах её меча ей удалцов родит.  
Теке, йомуд, языр, гоклен с ахалом встанут в ряд,  
Пойдут в поход — в садах цветы восторженно горят.  
Иранцев сбросили с хребтов на дно скалистых ям,  
И день, и ночь их жалкий стон оттуда слышен нам.  
Не страшен враг нам, пусть стоит у самых наших стен,  
Нас в плен не взять, — туркмена сын не знает слова «плен».  
Когда бы гости ни пришли, всегда готов им той,  
Туркмена речь всегда пряма, нет лжи в ней никакой.  
Так говорит Магтымгулы — нет на душе пятна,  
Бог на него направил взор — цветёт его страна!

*(Перевод Николая Тихонова)*

Кроме поэта Николая Тихонова, который перевёл на русский язык большинство стихов Магтымгулы, его лирику переводили многие блистательные русские поэты и переводчики: А.Тарковский, М.Тарловский, Е.Гордиенко, Е.Нейман, Г.Шенгели, Н.Лебедев, Н.Гребнев, Е.Валич, А.Старостин, Т.Стрешнева, Т.Спендияров, С.Иванов, А.Ревич, А.Кронгауз, Б.Голубев, С.Ботвинник, Л.Вдовин, А.Зырин. Особую известность и популярность получили переводы Арсения Тарковского, удостоенного за них Государственной премии имени Магтымгулы. Именно через русский язык пришло мировое признание поэзии Магтымгулы. И первый сборник его стихов был издан в России, в Астрахани в 1912 году.

Во время празднования 300-летнего юбилея Пырагы хочется вспомнить имена исследователей его жизни и творчества. Пионерами в изучении его наследия были европейцы: польский поэт, дипломат и ориенталист А.Ходзько-Борейко, венгерский тюрколог и этнолог А.Вамбери и русские академики-востоковеды А.С.Самойлович и Е.Э.Бертельс, объявившие Пырагы «общетуркменским наставником».

Литературное наследие великого Магтымгулы Пырагы занимает достойное место: произведения Магтымгулы бережно хранят в Восточном рукописном фонде РАН, в Азиатском музее и в архиве Санкт-Петербургского института Востоковедения. Произведения Пырагы изучают в Москве в МГУ имени М.В.Ломоносова, в институте Азии и Африки читают курс лекций «История Туркменистана». Этот институт совместно с Московским обществом туркменской культуры и посольством

Туркменистана в России каждый год проводит культурные мероприятия, посвящённые памяти великого поэта.

Стоит отметить труды английского учёного и переводчика Брайана Олдиса, — в его книге «Песни из степей Средней Азии: Магтымгулы Пырагы» напечатано около сорока стихотворений.

Всё сказанное о великом Магтымгулы Пырагы создаёт портрет национального мыслителя, пророка и поэта Туркменистана, для которого главным направлением в творчестве была линия ышк — одна из определяющих в суфийской литературе: любовь к человеку и человечеству, к жизни и миру во Вселенной, любовь к Абсолюту, а Он существует везде и в каждом.

---

**МАГТЫМГУЛЫ ПЫРАГЫ (Махтумкули Фраги)**  
*К трёхсотлетию великого туркменского поэта*



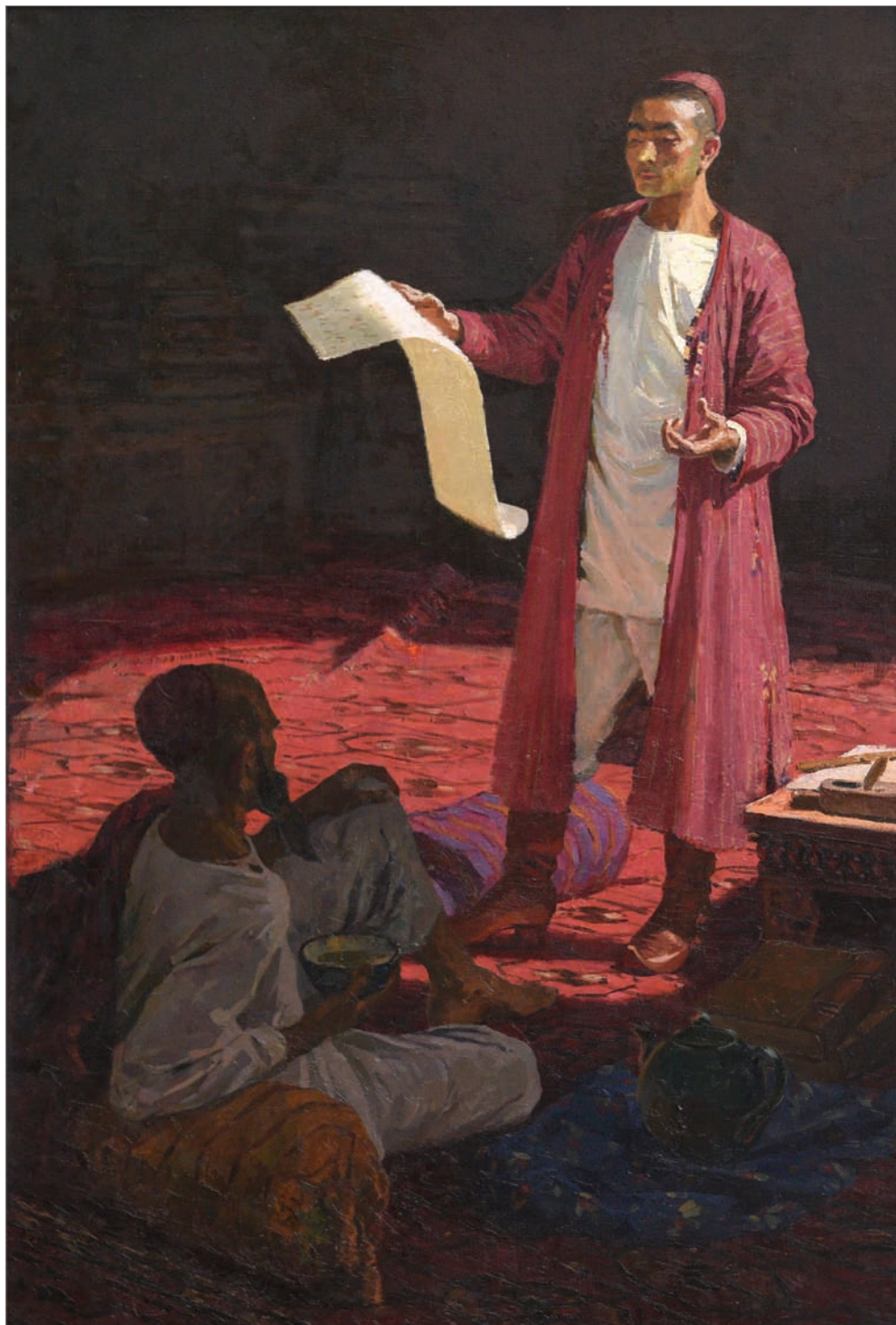
Айхан Хаджиев. Портрет Махтумкули. 1947.  
*Холст, масло, 144x109*



Алламурат Мухаммедов. Азади и Фраги. 2014.  
Холст, масло. 100x150



Ярлы Байрамов. Махтумкули–Фраги. 1983.  
Холст, масло. 160x220



Чары Амангельдыев. Молодой Махтумкули читает свои стихи отцу Азади. 1959.  
Холст, масло. 151x100



Халлы Аначарыев. Махтумкули в медресе Ширгази. 1938.  
Холст, масло. 200x170





Бяшим Нурали. Портрет Махтумкули. 1959.  
Холст, масло. 200х170



Виктор Попов.  
Памятник классику туркменской литературы XVIII века Махтумкули.  
1967, Ашхабад



Сарагт Бабаев. Памятник Махтумкули Фраги.  
2009, Астрахань



Сарагт Бабаев. Монумент Махтумкули.  
2024, Ашхабад

Светлана Васильева

## Речь о поэте

Владимир Салимон — дар искренности нам всем. Слово, в данном случае означающее не открытость самовыражения. Оно от «искры», которая Божья. Искра Божья как выражение мира. И поэтическая техника, и разнообразие душевных состояний в лирическом хозяйстве Салимона только служба для того, чтобы обнаружить «внутренность» этого мира: его чувствилище.

Но чего-чего мы только ни слыхали о поэте, какие сравнительные характеристики ни предлагались: от Саши Чёрного до обэриутов и даже *нашего* Кафки. Странно и диковато поглядывал из нарочитой простоватости более ранних книг Салимона мир русского абсурда. Сам же автор, поменяв ударение, недавно стал в сетях вдруг не Салимоном, а Салимоном. Чего не бывает в несчастном сознании растревоженного читателя?!

Однако, если в зеркале почитателей и мелькают кривые тени, то сама поэзия никакой кривизны не терпит. Выталкивает её из своего «дискурса», потому что имеет свой центр, свою иерархию и своего читателя. В подобном сосуществовании бывают допустимы и близорукость, и ошибка зрения, и слезящийся глаз от ветра или набежавшего пейзажа за окном поезда, который мчит тебя неизвестно куда. Всё это, как говорится, человеческое, *слишком человеческое*.

И всё-таки, что более всего проявляется в этой поэзии в настоящий момент, создавая её масштаб? Не рискну заявлять, что это стихи пушкинского плана. Но они явно вылетевшие из пушкинского гнезда. Нет, это не про то, что «весь я не умру» и «душа в заветное лире/ мой прах переживёт...» У иных на ходу бронзовеющих поэтов тут возьмёт да и вылезет подпольный двойник вроде Достоевского Фомы Опискина: «Я знаю Россию, и Россия знает меня». Знает ли Салимон Россию? Наверняка. Но узнаёт ли его Россия? Поучиться б ей, нынешней, описывающей свои поэтические сны без особых усилий и знаков препинания, этой по-салимоновски сотворяющей зоркости. У поэта — всё в порядке и с поэтической дикцией, и с синтаксисом, и с «цитатой-цикадой». Ведь именно в этой просодии и её разветвлённом музыкальном древе живёт звук сущего.

Парки бабье лепетанье,  
Сонной ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня.  
Что тревожишь ты меня?..

---

Васильева Светлана Анатольевна — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась и живёт в Москве. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы-студии МХАТ. Автор четырёх поэтических книг, романа «Превосходные люди» и многочисленных статей в периодике.

«...Я понять тебя хочу,/ Смысла я в тебе ищу». «Хочу» и «ищу» — оппозиция сегодняшнего Салимона. И его настоящее мужество.

Он выслушивает утренние новости, а сообщает нам вести. На исхоженной улице выстраивает греческий амфитеатр с героями, битвами и жертвоприношениями.

Дозорный видит чёрный дым,  
Что значит — Троя пала.  
Дым нам невидим. Дым незрим,  
Но свет небесный тьма застлала.

Жизнь во временном разрезе. Но за узнаваемым бытом окраинной, несчастливой Москвы и благодатной глубинки Чехова и Фета не сразу догадаешься, что речь идёт о подлинном действе с его трагической *перипетией* — переменной судьбы, ожидающей за углом. В книге «Дозорный видит дым» соучаствует вся видимая наличность. Все сущности движутся и взаимодействуют: московский дворик и писающий ослик, сигналившая электричка и бьющий луч солнца, ночной призрак и яркие всполохи рябины. Чернильная сирень расплетает косы. Волосы любимой разметало по подушке, как детские кудряшки-игрушки... Читатель не смысли «считывает», а присутствует на некоем чудесном сеансе. Неслучайно встретится на страницах книги посвящение другу и мастеру магического неореализма Вадиму Абдрашитову. В том ответственном, отечественном кинематографе нашего недавнего времени никакие симулякры и двойники не отменяют движение по общему кругу «царство света — царство тьмы...» На этом провидческом переходе у поэта наготове свой «лирический жест» — простой и сочувствующий. Предостерегающий и спасающий.

Бог весть, вы, верно, замечали,  
у нас — и в радости поют,  
поют и в горе, и в печали,  
поют, когда на казнь идут.

И те, кто ехали по полю,  
в машине крытой, за борта  
держась, натуре давши волю,  
весь путь не закрывали рта.

Скакал грузовичок военный  
на кочках, уносясь во тьму.  
Зря на звонок велосипедный  
я жал и жал вослед ему.

Я умолял, я звал вернуться  
сидящих в кузове назад,  
скорей одуматься, очнуться  
под ноль остриженных ребят.

Такое вот кино. Но в стихотворной музыке — реальная перспектива нашего поэтического неореализма, да и не только его.

*Диана Светличная*

## Страна фей и драконов

### 1

Дорога Бишкек — Алматы зимней ночью — это аттракцион для тех, кто любит погорячее. Погружение в молочный кисель начинается с пограничного пункта Кордай. Сонный мальчишка тонет в бушлате, с неба сыплется колючая дрянь. Рыжая овчарка, пытаясь сохранить тепло своего организма, старается держать язык за зубами и по-щенячьи вертит головой. Милый зверь, у нас с тобой столько общего.

Разделяющая Казахстан и Кыргызстан река Чу бурлит. Проходя над ней по мосту, я останавливаюсь и смотрю в кипящий бульон. «Бух в котел — и там сварился!» Расчехляю классику и закашливаюсь. Весь декабрь я кашляю: кашляю, читая новости, кашляю, отвечая на письма, кашляю, думая о завтрашнем дне. Я устала от этого кашля.

«Машина сразу на выходе, — кричит из телефона водитель. — Я включил аварийку». Сквозь мутное ледяное месиво нам подмигивает покрытый инеем автомобиль, мы с мужем и детьми мчимся к нему, как персонажи фильма-катастрофы (скучный по нынешним меркам жанр).

В машине тепло, звучит убаюкивающая музыка, за окном бушует ураган, видимость нулевая, трассу в любой момент могут перекрыть, мы несемся на всех парусах. Наши стальные паруса рубят мелованную бумагу, текст пушкинской «Вольности» крошится и разлетается буквами над казахской степью. «Хочу воспеть Свободу миру», — удалите лишнее слово.

«Вы из России?» — спрашивает таксист. Я закашливаюсь, утыкаюсь носом в толстый шарф, смотрю в белую стену тумана за окном. Муж удовлетворяет интерес таксиста, они находят общих знакомых, шутят над тем, что понятно только местным, — едем *абдан*<sup>1</sup> ништяк.

Года два назад меня пригласили соведущей в прямой эфир. За час до начала программы. У нас так бывает. У штатной ведущей случился какой-то форс-мажор, и нужно было срочно ее заменить. Даже если ты уже сто лет не работаешь на телевидении, тебе могут позвонить и по-свойски попросить о помощи. Это нормально.

---

*Диана Светличная (Юлия Горяйнова)* родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподаёт в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете Международных отношений. Лауреат премии «ДН». Живёт в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

<sup>1</sup> Абдан — очень, в полной мере (*кирг.*).

По дороге в студию все, что я успеваю узнать, — это тему эфира и имена гостей. В студию мы влетаем практически одновременно с гостями, на грим и внешний вид всем плевать. Три, два, один — начинаем! Тема программы — права человека и новый законопроект, гости: юрист, правозащитник, активист. Дискуссия набирает обороты, звучат высокие ноты, произносятся заготовленные речи, программа отрывается от земли и несется в открытый космос. Когда ты только что вернулся из отдаленных регионов, космический ландшафт бьет по глазам и кружит голову. «Простите, — прерываю я речь очень хорошего, действительно хорошего, юриста и пытаюсь задать вопрос, который часто слышу в селах. Задача ведущего регулировать направление движения космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной. — Можно я задам вопрос от лица народа?» — говорю я громче обычного, и в студии повисает тишина. Тишина в прямом эфире — зло. В прямом эфире можно кричать, стонать, драться, говорить глупости, но только не молчать. Спустя неприличное количество секунд тишины уважаемый юрист растерянно спрашивает, от лица какого народа задаю я свой вопрос. Я поясняю, что от лица кыргызского народа. В эфире снова повисает тишина. Не-а, никому нет дела, что я достаю из широких штанин. Бьют же, как известно, по лицу, а не по паспорту. Хотя...

Литературный фестиваль в Москве. Горят огни, открыты двери. Это было недавно, это было давно. Пять лет назад — другая эра. Сколько любимых лиц с той встречи храню я в сердце. Сколько там было солнца, сколько тепла. Счастье — находиться рядом с людьми, которые тебя понимают. «А кто ты по национальности? Киргизка?» — спрашивает меня участница фестиваля из Минска и фотографирует на свою профессиональную фотокамеру.

У меня нет претензий ни к таксисту, ни к юристу, ни к писательнице из Минска. Потому что не бывает плохих или злых вопросов, не бывает вопросов, на которые нельзя найти ответа.

«Мы же можем ехать чуть-чуть медленнее», — подаю голос, испортив таксисту настроение. Таксисты из Казахстана менее безбашенные, чем таксисты из Кыргызстана, но предложение ехать медленнее в нашем регионе оскорбительнее поиска ремня безопасности для всех. Таксист сбавляет скорость, заметить это можно, только поравнявшись с выброшенной с трассы маршруткой, она мигает аварийными огнями и развлекает белую гуашь, в которую погрузился мир.

Трасса Бишкек — Алматы осенью усыпана птенцами: не научились определять опасность; зимой пестрит перевернутыми легковушками — не помолились водители на выезде. Вот и «Алматының түндері-ай»<sup>1</sup>, как поет Нюша: горящие проспекты никогда не спящей столицы Казахстана.

«Горжусь своей южной столицей», — внезапно сообщает нам таксист. «У вас отличная южная столица», — поддерживаем мы. Я мысленно благодарю всех казахских богов за то, что мы доехали.

## 2

В алматинском аэропорту — как на рынке: грязь, давка, духота. В переполненных залах плохо одетые люди с некрасивыми лицами. Одни слишком толстые, другие слишком худые, третьи очень хотели быть красивыми и переборщили с губами и ресницами. Родители издерганны, дети испуганны, люди помоложе не отрываются

---

<sup>1</sup> «Алматының түндері-ай» — душевная песня о городе Алматы, которую сочинила и записала семейная пара из Германии Пауль Фридрих и Ольга Каспер, некогда уехавшие из Казахстана; позднее ее перепели дуэтом Кайрат Нуртас и российская певица Нюша.



от гаджетов, люди постарше смотрят в пустоту. «Бедные мы, несчастные», — говорю мужу, имея в виду человечество, но он понимает это на свой лад и возвращается с бутылкой шампанского.

«За прошлый год», — говорит муж, и мы пьем из пластиковых стаканчиков, не чокаясь. Шампанское не смягчает обстановку вокруг. Фокус моей оптики сбит начисто. Кусок стекла не вытащить из глаза.

### 3

Лоукостер — это всегда приключение. Народу в самолете тьма. Младенцев и детей крикливого возраста — как на утреннике. Все-таки это предновогодний рейс. Сидящая перед нами пара шикает на своего ребенка и разливают по стаканам виски. Ребенок, шепелявя, спрашивает отца, долго ли придется сидеть, отец откидывается на спинку кресла и ничего не отвечает. «Саша, тебя сын спрашивает», — с укором обращается к мужчине женщина с большими губами и ресницами. Речь ее невнятна, одни звуки долго тянутся, другие быстро проскакивают, что тому виной — виски или неудобные губы — не нашего ума дело. «Саша, ответь ребенку, не веди себя как скотина», — громким шепотом говорит женщина. «Зая, спи», — отвечает ей Саша, и, несмотря на то, что у него обычные мужские губы, в его коротком ответе звучит та же тоновая система. Сидящие за нами девушки — три сестры в хиджабах — заливаются смехом и записывают короткие видео на телефон. Через слово хвалят Аллаха, вспоминают какого-то Алика и пощипывают друг друга за плечи. «Ты дуручка, убери эту фотографию, я здесь толстая», — требует одна девушка. «Наоборот, ты там такая лапочка. Совсем, что ли, того — убирать?» — убеждает ее другая. «Давайте вот так, все вместе посмотрим в кадр, че вы как эти...» — смеется третья. От их веселого трепа веет покоем. Может, все дело в их приятных голосах. Под них не страшно засыпать.

«Если я сяду, ты ляжешь», — бодрящее предупреждение рассеивает мой сон. Саша стоит в проходе, чуть покачиваясь и едва не касаясь макушкой потолка. В проходе у первого ряда стоят двое таких же крупных мужчин и соревнуются с Сашей в каком-то специальном виде спорта. Саша похож на разбуженного медведя, по выражению его лица невозможно предугадать дальнейшие действия. «Я тебя просто попросил проявить уважение, — говорит Саша, в одних местах растягивая, в других комкая звуки, — ты по-хорошему не понял, значит, будет по-плохому». Саша делает шаг в сторону первого ряда, и салон самолета ахает, я понимаю, что проспала прелюдию. К Саше подбегают маленькие щуплые бортпроводники и тут же разлетаются в стороны, на Сашу кричат девушки в хиджабах, Сашу пытается пристыдить пожилая женщина. Саша идет к первому ряду, как Годзилла. Коренастый аксакал с круглым животиком выходит из второго ряда слишком легко, обнимает Сашу слишком неожиданно. А дальше наш полет превращается в мастер-класс по эффективным коммуникациям. В какой-то момент урок дипломатии перетекает в сеанс психотерапии, в ходе которого пациент демонстрирует нам все стадии проработки своих детских травм. Салон узнает о детстве, юности и взрослой жизни Саши, о ценностях его родного Усть-Каменогорска, о людях, которых там уважают, о людях, которые там больше не живут. В какой-то момент эта затяжная информационная кампания начинает походить на рекламу нового туристического направления. Лично мне действительно становится интересно побывать в этом шахтерском городе с ясными установками и понятными правилами. Учитывая тот факт, что большую часть тамошнего населения я теперь знаю неплохо, думаю, если выдастся случай, махну.

Аксакал усыпляет бдительность Саши, я засыпаю сама. Мне снится море, в нем тонет чайка. Чайка выныривает, вскрикивает и снова скрывается под водой. На очередном ее вскрике я просыпаюсь и понимаю, что кричит сидящая за мной

девушка. «Держите его, кто-нибудь! Женщина, успокойте своего мужа, почему вы его не успокаиваете?» В первых рядах происходит какая-то возня, Саша стоит, придавив двоих пассажиров своим огромным телом, пассажиры болтают ногами, дергают руками, хрипят. Саша требует от них извинений. В какой-то момент он приподнимает одного из пассажиров и бросает в проход, самолет как будто вздрагивает, несколько женщин взвизгивают. Стюард говорит по громкой связи, его английский звучит, как китайский, разобрать ничего невозможно, соседи предполагают экстренную посадку в Китае, девушки в хиджабах ругаются отборным русским матом. Увидев аксакала, бегущего по проходу из другого конца самолета, Саша отбрасывает позеленевшего пассажира и идет на свое место.

«Вот же тварь ты какая, — обрушивается на Сашу аксакал. Он больше не выбирает слов и не регулирует громкость своего голоса. Дипломатия закончилась. — Я же весь полет тебе посвятил, тварина ты неумытая, неужели мне и поссать сходить нельзя, а?» На этих словах он отвечает Саше подзатыльник, и Саша ничего ему не отвечает. Остаток пути мы летим в тишине. Сквозь гул реактивных двигателей я слышу, как Саша шмыгает носом.

#### 4

В Камрани нас встречает эдакий Ивашка из Дворца пионеров — улыбчивый вьетнамец с саратовским образованием и патриотическим настроем. «Мое имя До, но зовите меня Андрей», — говорит он при знакомстве. «Почему мы должны звать вас чужим именем?» — интересуемся мы. «Ну, вам так будет удобнее», — поясняет До. По дороге в нашу деревушку До рассказывает нам краткую историю своей страны, перечисляет brave дела вьетнамского народа, с придыханием славит власть, демонстрирует понимание своей миссии и приверженность марксизму-ленинизму и идеологии Хо Ши Мина.

«Не-не-не, если вы называете наше море Южно-Китайским, вы соглашаетесь с агрессивной политикой Китая, — предупреждает нас До. — Это наше море, — говорит он с чувством. — Оно всегда было нашим». «Так как же нам его называть?» — спрашиваем мы. «Это Южно-Восточное море, запомните раз и навсегда», — программирует нас До.

Южно-Восточное море игриво и прекрасно, легкая дымка над водой утром и розовые блики вечером, волны сбивают с ног, трясут за плечи, выбивают дурь. Если перестать сопротивляться стихии, она принимает тебя как свое дитя, качает, баюкает, гладит.

Я дышу полной грудью, не читаю новости, не проверяю почту, не беру телефон, я больше не кашляю.

#### 5

Наш отель с домиками под тростниковыми крышами говорит на всех языках, сияет всеми оттенками кожи, щурится всеми разрезами глаз.

Французы гоняют мяч, ходят отрядом из шести человек: три прозрачные балерины, два лохматых сердцееда и одно чудовище со сломанным носом. Вокруг чудовища крутится Земля. Его гнусавый басок вызывает всеобщий смех, его все хотят обнять, он задает тон беседам, решает, когда уходить с пляжа. Французам около тридцати, но выглядят и ведут они себя как наши подростки. От них исходит легкость, дурашливость, непринужденность. Загорелые девушки круглые сутки в коротких шортах, свободных майках, сланцах; ноль макияжа, ноль манерности — свобода,

равенство, братство. За завтраком они сбиваются в стайку у столика на четверых, трутся друг о друга локтями, коленями, хором смеются, без умолку говорят. С ними рядом нет времени, нет горя, нет войны.

Пара из Кёльна рассказывает нам про свой запутанный маршрут: чтобы встретиться здесь, они по отдельности проехали через Камбоджу и Лаос, летели, ехали, плыли, писали друг другу письма, ужинали и завтракали, включив камеру телефона. Впереди у них много солнца и чуть более соленый, чем у других, воздух. Они поочередно мажутся кремом и пьют кокосы. Этой паре не нужно рассказывать про их другую жизнь, она проходит глубоким шрамом через их лица, таится в сдержанных улыбках, в морщинках вокруг глаз. Он неуверенно держит ее за руку, она уверенно рассказывает про немецкий автопром. У нее синие глаза и черные волосы, у него рыжая борода и натруженные ноги. Они ходят по кромке моря, не позволяя пене подняться выше лодыжек, плавают в бассейне, не снимая шляп. От них веет пресыщенностью, поиском смысла.

Днем на пляже над шезлонгами развеваются белые паруса навесов, вечером тут горят сотни желтых, как светлячки, огней. Море шумит, грозит приливом, захлестывает волной. Вдали перемигиваются фонарями рыбацкие лодки.

«Только туда и обратно», — уговариваю мужа пройти мимо столика, подсвеченного десятками зажженных свечей. «Люди хотели уединиться», — сопротивляется он. «Когда хотят уединиться, не заказывают столик, окруженный свечами», — не сдаюсь я.

Муж вздыхает, и мы проходим мимо пожилой пары, сидящей за столиком в круге огня. Седовласая леди улыбается нам щедрой красивой улыбкой и по-королевски машет рукой. От нее исходит сияние, оно заливают пустой пляж, накрывает куполом море. Я машу ей в ответ и ощущаю прилив нечаянной радости. Кто вы, такие сморщенные и такие прекрасные мужчина и женщина? Что вы празднуете? Рождение? Жизнь? Любовь? Хотя какая разница. Любовь, рождение, жизнь — все одно.

Семья из Петербурга старается разговаривать только на английском, даже между собой. Подбадривая плавающих в бассейне сыновей, отец кричит им высоким голосом: «Great! Okey! Super!» Но когда мальчики заигрываются и норовят обрызгать лежащих на шезлонгах людей, регистр отца понижается, и он гулко спрашивает: «Че вы творите?» Мальчики тут же втягивают головы в плечи, а их мать становится похожа на птицу, готовую кинуться на защиту потомства. Мы при встрече перебрасываемся приветствиями и искусственными улыбками, дальше этого наше общение не заходит. В лице женщины я вижу тревогу, разочарование, грусть.

## 6

Жизнь во Вьетнаме начинается с восходом солнца и заканчивается с его закатом. В три часа ночи в море выходят рыбаки, в пять просыпаются возделыватели земли, в шесть все остальные. С шести вечера береговая линия — под неусыпным контролем службы безопасности. В городах это береговая охрана, в сельской местности — охрана отелей. Войти в Южно-Восточное море после шести вечера практически невозможно, тебе будут светить в глаза мощными фонарями, предупреждать об опасности в громкоговорители, показывать таблички и белые зубы столько, сколько понадобится. Здесь никто никуда не торопится. «Пожалуйста, мадам», — скажут вам в конце концов очень сдержанно, и вы почему-то вспомните фильмы про вьетнамскую войну.

Музей жертв войны в Сайгоне — место хранения доказательств военных преступлений американской армии против мирного вьетнамского населения. Он возникает в любом разговоре об истории Вьетнама. «Вы должны увидеть, что они с нами делали», — убеждает нас Чунг — гид, с которым мы носимся по дюнам, кокосовым и кофейным плантациям, зоопаркам, змеиным и крокодиловым фермам.

«Смотрите, как отличить настоящую крокодиловую кожу от подделки, — учит он нас. — Кожа крокодила при постукивании не дает звука, она его поглощает из-за толщины и структуры, это отличный материал для бронежилета. — Чунг эмоционален и говорлив, в прошлом он военный, учился, как и все русскоговорящие гиды, в России. — А теперь посмотрите, как выглядит подделка. По внешнему виду не отличишь, а постучите по ней. Поняли? Все ненастоящее — оно пустое, я вас уверяю», — заходится в эмоциях Чунг.

На крокодиловой ферме тихо. Крокодилы не очень шумные животные. Десятки и сотни обладателей пуленепробиваемых тел лежат в небольших резервуарах за железными сетками, смотрят на двуногих без особого интереса. Рядом с резервуаром торговая лавка с сумками, ремнями и обувью из крокодиловых собратьев. «Зам за», — пытается привлечь туристов скидкой продавец. Пока никто не видит, я стучу себя по животу. Звук получается звонкий, такой, как если бы я была подделкой.

## 7

Наконец я собираюсь с духом, и мы с семьей едем в музей жертв вьетнамской войны, или, как он назывался при открытии в 1975-м, «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама». Во дворе музея стоит трофейная техника: вертолеты, танки, орудия убийства. На их фоне фотографируются улыбчивые туристы, шумят высокие деревья.

К собственному удивлению, я не испытываю никаких эмоций ни в залах документальной фотографии, ни в камерах пыток с клетками для политических заключенных. Я иду от одной экспозиции к другой и пытаюсь нащупать внутри себя хоть что-то похожее на боль или сочувствие к людям в видеохронике, к детям на фотографиях. Но ничего, напоминающего сопереживание, внутри меня будто нет. Я чувствую усталость в ногах, зуд от комариного укуса, легкий голод. Мне даже больше не нужно стучать по себе. Я — подделка, внутри меня пусто.

На выходе из музея сын подзывает меня к витрине со значками стран, выступавших против войны во Вьетнаме. «Мама, я хотел купить что-нибудь друзьям, может быть, в этом музее есть магазин с чем-то похожим?» — говорит он.

Среди множества мелких сувениров на антивоенную тему за стеклом мне бросается в глаза неприметный белый значок с текстом: «War is good business, invest your son»<sup>1</sup>. Я закашливаюсь до слез, мы уходим из музея.

## 8

Вьетнамский Диснейленд и каноэ в джунглях, ночной Сайгон и дома на воде, корабли-рестораны и экзотические блюда — попытка развлечь и удивить мир, стоящий на краю обрыва. «Того, что есть у нас, вы не увидите больше нигде», — повторяли заученную фразу наши гиды и без конца хвалили руководство своей страны, понижали

---

<sup>1</sup> «Война — хороший бизнес, инвестируйте в нее своего сына» — один из саркастических антивоенных лозунгов времен вьетнамской войны.

голос при обсуждении проблем, с нескрываемой ненавистью говорили о своих ближайших соседях.

Любая страна — это, конечно, люди. Я запомнила нескольких. Девяностолетнюю старуху, переправлявшую нас на каноэ через джунгли. На ее лице было не меньше сотни морщин, ее сухая сморщенная ладонь за годы превратилась в продолжение весла. Старуха была похожа на мумию и, возможно, помнила того самого Хо Ши Мина. Сходя на берег, я вложила в ее ладонь купюру и поклонилась, она посмотрела на меня ясным взглядом, и в ее глазах блеснуло что-то вроде усмешки.

Я запомнила мужчину, который всю свою жизнь провел в плавучем доме. В доме две комнаты, в одной живет семья мужчины, в другой обрабатывают рыбу и креветок. Под домом — креветочная ферма. Ноги мужчины покрыты коростой, на среднем пальце правой руки сверкает перстень. Мужчина мыл в реке рис, в это же время в эту реку мочился его сын.

И третий человек, которого я никогда не забуду, — маленькая девочка. Мы сидели в баре на Сайгонском Бродвее, была полночь, никогда не спящий Буи Вьен<sup>1</sup> гремел музыкой, сверкал огнями, предлагал все на свете за ваши деньги. Толпящиеся туристы танцевали, выпивали, знакомились. Вьетнамцы веселили, удивляли, обслуживали. Неизвестно откуда у нашего столика появилась крошечная вьетнамская девочка с веером. Девочке было не больше трех, ее черные блестящие волосы были собраны в хвостики и смешно торчали в разные стороны. «Где твоя мама?» — спросила я девочку и осеклась. Девочка посмотрела на меня очень уставшими взрослыми глазами, в них не было ничего детского. В них были злость, пустота, отчаяние. Девочка ударила меня по ноге своим красивым веером и побежала к стоявшей на обочине маме. Им с мамой предстояло продать еще много вееров.

## 9

Новый год мы встречали на берегу моря. Украшенные столы, белые скатерти, роскошь, изобилие. Для нас пели феи и танцевали драконы, нас убеждали в том, что новый год будет лучше прежнего. В последние секунды уходящего года небо взорвалось фейерверком, а рядом с водой зажглись огромные цифры «2024». Они долго горели синим пламенем, и море не могло с ними справиться.

---

<sup>1</sup> Буи Вьен — самый оживленный квартал в туристическом районе Хошимина.

## Двадцать пять бумажных писем

Валентин КУРБАТОВ — Дмитрию ШЕВАРОВУ

### *Далеко до Сайгатки*

Горн играл что-то очень знакомое.

Вот сейчас подует ветер, распахнется светлая занавеска на окне, и старшая пионервожатая крикнет: «Ребята, вставать, побудка!..» С крайней кровати прыгнет дежурная в голубой майке и трусах и побежит вдоль одинаковых, с блестящими шишечками, кроватей; будет сдергивать с сонных девочек одеяла, щекотать пятки... А горн заиграет ещё звонче и радостнее: «Вставай, вставай!..»

*А.Перфильева. «Далеко ли до Сайгатки?»*

Когда Валентина Яковлевича спрашивали о любимых книгах детства, он неизменно называл повесть Анастасии Перфильевой «Далеко ли до Сайгатки?». Это была первая книга, которую первоклассник Валя Курбатов взял в Чусовской библиотеке имени Пушкина.

О книге он помнил лишь то, что на обложке была нарисована девочка. Как её звали и что с ней происходило — забылось.

Однажды я нахожу книжку Перфильевой у нас на даче, в деревне. Сильно потрёпанная, пожелтевшая, но та самая. Правда, издание не послевоенное, а 1972 года.

Я тут же звоню Валентину Яковлевичу и радостно сообщаю, что при первой okazji могу передать ему заветную книжку.

К моему удивлению, он со вздохом отказывается. Потом я догадываюсь — почему. Память о девочке с обложки была так свежа и горяча, что даже имя её стало лишней подробностью.

А девочку из повести звали Варей.

Давно проверены горькими утратами ахматовские строки:

---

*Шеваров Дмитрий Геннадьевич* родился в 1962 году в Барнауле. Окончил Уральский государственный университет им. А.М.Горького. Автор книг для взрослых и детей. Лауреат литературных премий «Ясная Поляна», Горьковской, им. Александра Невского, поэтической премии Antologia журнала «Новый мир» и др.

*Курбатов Валентин Яковлевич* (1939—2021) — советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии РФ.

Редакция «ДН» благодарит Сергея Биговчего и издательство «Красный пароход», где выходит книга Валентина Курбатова «Среди писателей: Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания», за предоставленную возможность опубликовать корпус писем к Дмитрию Шеварову.

Когда человек умирает,  
Изменяются его портреты.  
По-другому глаза глядят, и губы  
Улыбаются другой улыбкой...

Да, изменяются, и ещё как изменяются. Но что изменяются слова, книги, письма — об этом я, кажется, раньше не знал. Увидел это лишь после ухода Валентина Яковлевича.

Те же слова, на тех же страницах — а читаются как впервые. Может быть, беда меняет наше зрение, останавливает взгляд на тех строках, которые раньше мы легко и снисходительно пробегали. Спадает пелена.

А может, это несчастная особенность нашего русского чтения. Чтение начинается у нас после ухода автора, будто автор своим живым присутствием чем-то мешал нам вникнуть, вчитаться, заслонял нам свой же текст.

Так ведь было и с Пушкиным. У нас всех читают *потом*.

\* \* \*

Пишу о Валентине Яковлевиче в дни, которые про себя называю «курбатовскими», — конец сентября, бабье лето, листопад такой, что кажется, само солнце шелестящими ручьями стекает на землю.

Таким обычно был день его рождения — 29 сентября.

Появившись на свет в зените тёплой осени, он всю жизнь раздавал свет и тепло.

Многие считали, что исток его неистощимой светлости, приветливости и весёлости — в его природном актёрском даре.

Не думаю, что это так. Можно сыграть храбреца, богача и даже мудреца, но нельзя сыграть счастье. Нельзя притвориться влюблённым или милосердным.

И не так уж часто он сыпал шутками. И не всегда был вдохновенным и общительным.

Я видел его и в глубокой печали, и в тяжёлых раздумьях, и в горе. Наверное, поэтому сейчас, читая воспоминания о Курбатове его коллег, я не всегда узнаю его. В том нет вины вспоминающих. Просто я знал другого Курбатова — застенчивого, грустного, умеющего беседовать в молчании.

Таким он был со мной, быть может, потому, что нас более связывали потери, чем обретения. Особенно нас сблизил внезапный и ранний уход Гены Сапронова<sup>1</sup>.

Очень благодарен Валентину Яковлевичу, что со мной он был именно таким: сосредоточенным, серьёзным. Он откуда-то знал, чувствовал, что слишком смелая шутка может меня оттолкнуть.

Каждый, кто прочитает его «Дневник», почувствует, как одинок был человек, казавшийся кому-то из собратьев-литераторов чуть ли не балагуром.

\* \* \*

Отношения наши были счастливо ровные, а с моей стороны поначалу ученические, робкие. Долго я не решался к нему приблизиться. Мешало не только бесконечное почтение, которое я к нему испытывал и испытываю по сей день, но и само время (конец девяностых и начало 2000-х), которое будто взялось оборвать все былые связи между людьми и не дать состояться новым: взрывы домов, «Норд-Ост» и другие ужасы.

Так что мы переписывались с Валентином Яковлевичем уже года три-четыре, а всё не виделись ни разу. Вот и моя жена Наташа с ним познакомилась, а я, получалось, уклонялся от встречи, опасаясь, что нам не дадут поговорить, что,

---

<sup>1</sup> Сапронов Геннадий (1952—2009) — иркутский журналист, друг и издатель книг В.Астафьева, В.Распутина и многих других писателей (книжная марка «Издатель Сапронов»).

познакомившись заочно, в письмах, мы не узнаем друг друга при встрече. Думалось, что вот на бумаге-то, в письмах, я ещё могу быть интересен Курбатову, а в живой-то беседе непременно разочарую.

Но оказалось, что умной беседы от меня он вовсе и не ждал. Не через слова он сходил с людьми, а как-то иначе: через рукопожатие, глаза, интонацию, в которой он прочитывал что-то родное себе и близкое.

В ту первую встречу нам удалось лишь обняться, и мы сказали друг другу всего по несколько фраз, а потом началось какое-то собрание, и мы лишь изредка переглядывались. Валентин Яковлевич ободряюще посматривал на меня.

Так мы и сошлись — лишь переписываясь, а потом заговорщицки переглядываясь в редкие встречи, которые были на людях, часто в обширных залах. А заговора-то никакого, конечно, не было. Было зарождавшееся дружество, наша солидарность в каком-то важном деле, которое таинственно свершалось.

Взгляды иногда говорят о взаимопонимании больше, чем разговоры по душам до утра. Ведь и слова устают быть словами.

\* \* \*

А знакомство наше началось зимой 1996—1997 годов с моей заметки в «Комсомолке» — ещё в той, где не было полуголых красоток, но которую читали почти в каждой семье. Заметка была о новинках толстых журналов: о рассказах Валентина Распутина и Бориса Екимова, статьях Валентина Курбатова.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» Газетная заметка в какие-то сто строк подарила мне встречи и с Екимовым, и с Курбатовым, а потом и с Распутиным. Вскоре после выхода газеты я получил от них неожиданные весточки.

Все трое писателей были тогда выброшены из литературной жизни. О них редко вспоминали, хоронили заживо. Особенно доставалось Валентину Григорьевичу Распутину. Вслед за ним и Курбатов с Екимовым попали в разряд «противников демократических перемен». Вот почему упоминание их имён в центральной газете (и в самом положительном контексте) стало в ту пору, смею думать, маленькой радостью для гонимых писателей.

На адрес редакции пришли посылка с книжкой и письмом от Бориса Петровича Екимова. Потом письмо от Валентина Яковлевича Курбатова. Он пригласил меня в Псков. Мы условились, что я приеду в майские праздники, но что-то помешало мне вырваться.

А вскоре от Курбатова пришла бандероль. Там была книга Валентина Яковлевича о его заветном друге художнике-графике Юрии Селивёрстове. На титульном листе я прочитал: «Пошли Бог сил и Вам, Дмитрий, послужить отечественной мысли, как герой этой книжки — с той же любовью и ответственностью. Вал. Курбатов. 29 ноября 1997 г.»

Той осенью я ушёл из «Комсомолки», потеряв должность обозревателя, высшую для пишущего журналиста. Поступок, очевидно, мальчишеский, несолидный для тридцатитрёхлетнего человека, но иного способа протеста против того, что происходило в родных стенах редакции, я не нашёл. Запальчиво думал: попробую начать жизнь с чистого листа. Таким чистым листом для меня стала газета «Первое сентября» (первое в России негосударственное педагогическое издание, созданное Симоном Соловейчиком).

Конечно, от бывшего материального благополучия, хотя бы и относительного, не осталось и следа. Последние сбережения испарились после дефолта. Семья бедствовала. Впереди были ещё многие годы балансирования между бедностью и нищетой.

Рассказываю обо всем лишь потому, что без этих подробностей не понять, в какой момент появился в жизни нашей семьи Валентин Яковлевич и почему такой



вдохновляющей поддержкой было для меня его благословение «послужить отечественной мысли».

На примере Курбатова я вскоре понял, какво это — служить отечественной мысли.

За свою независимость от сильных мира сего и незапятнанную честь Курбатов расплачивался бедностью. Помню, как, приезжая в Москву, Валентин Яковлевич обегал издательства и редакции, которые со скрипом печатали его предисловия, очерки и статьи, но вот гонораров не торопились платить. Это был мучительный и унижительный марафон.

А ведь до Москвы ещё надо было добраться. В какой-то момент автобус из Пскова стал дешевле плацкарта, и Валентин Яковлевич поехал на нём. Позже он — как всегда с юмором — рассказывал, что утром псковский автобус на подъезде к столице уткнулся на МКАДе в бесконечную пробку. Автобус тащился как черепаха, а потом и вовсе встал. Тогда Валентин Яковлевич попрощался с попутчиками и пошёл в Москву пешком. Шёл несколько часов вдоль дышащей бензиновым смрадом трассы, пока не добрался до станции метро.

Вот оно, служение отечественной мысли. О многом передумаешь на таком пути.

Тут к месту вспомнить, что понятие *отечественной мысли* намного шире понятия *философии*. У нас это всякое глубокое думание, размышление, которое ставит себе задачей поиск истины (но вовсе не обязательно — прикладной пользы или национальной выгоды). Мысль отечественная — значит родившаяся здесь, в Отечестве, выстраданная на поездках и вокзалах, на просёлках и грядках, в лесных скитах и в суете городов.

За мысль у нас приходится страдать, особенно когда государство никак не может приспособить её к своим интересам, а общество за барабанной дробью пропаганды не способно расслышать флейту одинокой думы.

То, что гуманитарные науки стали сегодня служанками в администрации президента, унижительно переживать стране, которая дала миру Чаадаева и Герцена, Хомякова и Ивана Аксакова, Достоевского и Толстого, Флоренского и Семёна Франка...

К счастью, мысль нельзя запереть в кладовке — она как Дух Божий, всегда дышит, где и когда хочет. И русская мысль, как и русская литература, потому-то так и любима человечеством, что наши мыслители чувствовали себя не только детьми своего земного отечества, но и сынами отечества Небесного.

Простите за это отступление, но оно имеет прямое отношение к судьбе Валентина Курбатова. По складу ума, дивно разностороннего, пронизательного и тонкого, Валентин Яковлевич был мыслителем, причём на редкость универсальным и открытым. Он прекрасно разбирался в широчайшей палитре как русской, так и европейской философии, литературы, богословия. Искал и находил переклички. Сближал имена, которые мог сблизить только он.

Это разноязыкое и разномысленное интеллектуальное богатство он старался поверить твёрдым, неуступчивым христианством. Валентин Яковлевич всегда помнил, что за яркостью обложки может скрываться соблазн. Ему важно было понять, какого духа то или иное произведение.

И если книга не проходила этой поверки, он старался не писать о ней, а чтобы не писать, — уклонялся от просьб издателей и редакций. Говорил просто: извините, не по сердцу мне эта книга.

Роль арбитра даже в литературных спорах он никогда на себя не брал. Его мнение, его тон всегда были примиряющими.

А это самое трудное в России — примирять непримиримых. Всегда проще примкнуть к одной из противоборствующих сторон. И не так уж важно, с кем ты — с белыми или красными, нигилистами или консерваторами, с демократами или патриотами, — важно, что ты не один.

*Александр Чанцев*

## Разведчики безнадежности

*В этой рубрике всего две и довольно герметичные книги. Философа и его переводчицы. Сказать, что оба фигуранта уникальны — значит, быть крайне лапидарным, утаить всё. Колумбиец Николас Гомес Давила — наследник Монтеня и Паскаля, из когорты-компаний философов вида и калибра Юнгера и Чорана. Потрясающий эрудит (библиотека в 40 тысяч томов), стилист, он выстраивал свою систему на такой жесткой критике современности, что за ним не угнаться, а апеллировал — к чему-то такому утонченному и благородному, что сейчас явно не в чести. Аристократ, убежденный реакционер, яркий мизантроп, отшельник — список его характеристик можно длить, благо, он к ним вряд ли в итоге сводим. Переводчица его книг Елена Косилова, конечно же, не просто перелagательница текстов, а во многом под стать своему объекту и совершенно точно очень любопытный самостоятельный мыслитель, настоящий философ наших серых и железных дней.*

Метафизическое желание не жаждет возврата, поскольку это тоска по стране, чуждой всей нашей природе, по стране, где мы никогда не жили и куда нам никогда не попасть. Метафизическое желание не основывается ни на каком предварительном сходстве. Это — желание, которое никогда не удовлетворить.

*Эмманюэль Левинас.*

*Избранное: Тотальность и Бесконечность.*

### *Ясная формулировка нашей безнадежности*

**Николас ГОМЕС ДАВИЛА. Схолии к имплицитному тексту / Пер. с исп. Е.Косиловой под ред. В.Дворецкого. Сер. Памятники философской мысли. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. 896 с.**

Специально сейчас не искал, но наверняка Николаса Гомеса Давилу<sup>1</sup> кто-нибудь да назвал Монтенем XX века<sup>2</sup>. Учитывая гигантский объём его основного произведения (произведений — об этом чуть дальше), потаенность его фигуры и неприкрытое выражение весьма специфических, совершенно не конвенциональных для нашего времени взглядов, определение нужно было бы скорректировать. Темный гипер-Монтень, как-то так? Даже не знаю. При столкновении с Гомесом Давилой — его миром, мирами, ведь это тот случай, что впору порождать выражения вроде «мир Толкина» и «Вселенная Диснея» — вопросов, недоумения и прочих трудно

артикулируемых эмоций вообще всегда больше, чем подходящих схем, определений и ответов.

Николас Гомес Давила (1913—1994) выпадает из определений уже сразу: не обладает тем, что есть вроде бы у всех, — биографией. Ее у него почти нет<sup>3</sup>. Происходил из такого аристократического рода, что это даже слишком, — легко прослеживается до XIII века, Педро Ариас Давила был первым конкистадором в Новом Свете<sup>4</sup>, основал несколько колоний. Род, как ни странно, не обеднел и влияния не утратил — отец Гомеса Давилы был владельцем много чего. Гомес Давила получил прекрасное образование в Париже, шлифовал его в Англии и родную Колумбию и Боготу не шибко жаловал (перебраться в Европу, можно бы предположить, помешала его антипатия к внешним жизненным движениям и слишком комфортная жизнь). Обучался классическим языкам — большинство европейских также знал (датский выучил для чтения Кьеркегора, русский — ради нашей литературы). Как и полагается такого рода психотипу, тяжело переболел в детстве (пневмония с осложнениями) и рано подсел на наркотик по имени книжная пыль.

Вообще, знал ли его Набоков, но позавидовал бы страшно. Идеальный эстет, эрудит и анахорет, которому история — и это в XX-то веке — позволила ни разу в жизни не носиться в поисках заработка, не убегать от тех или иных всемирных бедств... «Самое точное и краткое определение истинной цивилизации я нахожу у Тревельяна: “Праздник класс с большими и изученными библиотеками в загородных селениях”». Гомес Давила так и жил. Рано и счастливо женился (видимо, чтобы закрыть этот вопрос на всю жизнь). Поработал всего ничего — раз в неделю приезжал на наследную фабрику на десять минут, но, получив её от отца, быстренько передал сыну. Чуть попрожигал жизнь в качестве светского льва — да неудачно зажег сигару, занимаясь конным спортом, и из-за травмы оставил эту суету сует. Яркого представителя колумбийской элиты, его пытались рекрутировать в свои ряды местные политики того или иного толка. Но, как и Юнгер в самые кровавые и военные годы Германии (в Колумбии тоже было неспокойно, традиционно бузили), Гомес Давила хорошо умел проходить между струй дождя — что-то там консультировал (основал один университет), но «не был, не состоял, не привлекался». I'd rather not, по известному девизу.

А всю свою долгую жизнь просидел в имени в библиотеке. Чтение и иногда ужины-беседы с узким кругом друзей — опять же так жил Юнгер. И это есть идеал жизни книжного отшельника, настоящего интеллектуала и аристократа духа? Или же неизбежная мера в наше неуютное время? Об «Уходе в Лес» в очередной раз рассуждать не будем, но с Юнгером Гомеса Давилу роднит и самообразование. Как про Юнгера шутили, что нет смысла даже проверять, кого из авторов тот цитирует, всё равно эти книги никто не читал<sup>5</sup>, так и у Гомеса Давилы была библиотека под 40 000 томов. В ней он и отлетел к книжным ангелам.

Не склонный к любви ко многим современным писателям, и Юнгер ценил Гомеса Давилу. Тут можно было бы пофантазировать о степени потаенности писателей. Всемирно известный Борхес приезжал с поклоном к Юнгеру. Весьма всё же известный (но отнюдь не мейнстримный) Юнгер, возможно, навистил бы и насладился беседой с Гомесом Давилой за вином и сигарой во время одного из своих путешествий. Гомес Давила же — не хотел издаваться вовсе, попросту не видел в этом смысла. Зачем — он пишет об этом в «Схолиях» — ведь идеальный текст недоступен, его заметки — лишь некоторое очень далекое приближение к нему, записанное в минуту досуга (читай — всей жизни) для друзей. По настоянию их и брата Гомес Давила всё же что-то издал.

Минимальным тиражом, с абсолютным нулём усилий по продвижению текста и снискания им славы.

Слава, как и полагается, пришла посмертно, скорее в Европе, чем на родине, и, конечно же, в весьма узких кругах. Не то что маргиналов, эстетов и эрудитов, а хотя бы тех, кто может прочесть все его «Схолии». Как кто-то когда-то написал у меня в бложьей ленте, я держу том Гомеса Давилы на подоконнике и читаю по несколько его афоризмов в день. Я хотел было прокомментировать — а ещё по нему можно гадать, как по «Книге перемен» / чтения хватит на несколько жизней (при его объемах и суггестивной густоте).

«Схолии» — новые схолии, их тома — в принципе, объединяют его ранние работы и представляют всё его творчество. Их — см. объём этого пусть и билингвального издания — достаточно. Их всего — чуть больше 10 000. Учитывая то, что в каждую — а Гомес Давила крайне редко писал объёмом больше хайку, одно, пара, реже несколько предложений, уж совсем редко небольшой абзац — можно долго вчитываться...

Их, полного собрания этих схолий, может и быть слишком много. Они — даже могут вызвать что-то вроде интоксикации, перегрузки системы. Возможно, были правы в ленте о чтении по несколько их в день. Иначе — эффект, будто за раз прочли пять томов Чорана. Тошнит от тошноты от мира, что ли.

Есть ли какое-то развитие, различия в первых и «последующих» схолиях? Нет. Гомес Давила в них самих пишет о том, что — да и не тот он был человек, чтобы менять свои взгляды, от чего-то там отрекаться, таких людей он попросту в грош не ставил — всю жизнь мыслил и писал об одном, ходил кругами, возвращался, добавлял пару штрихов, новые оттенки и обертоны мысли. Чуть ещё копал лунку для посадки того идеального дерева, что никогда не будет посажено.

Схолии к имплицитному тексту построены концентрически, как критское линейное письмо А, найденное на дне минойской чаши. Воистину многожды *implicitus*, сплетенные из ничего ответы на несуществующие (но существенные) вопросы на языке, которого нет (и не может быть, слишком уж он красив, строг и ясен<sup>6</sup> по нынешним временам). Как при письме бустрофедон, как тот самый бык на поле, Гомес Давила отходит и возвращается постоянно к своим темам. Сделать тёмное ясным. И здесь можно поразмышлять о композиции схолий как совокупности иерархических контуров в кибернетике<sup>7</sup> или строении Вселенной по Аристотелю, или даже в изображении ангельских иерархий на «Успении Богородицы» Франческо Боттичини. Аксиологическая картина Гомеса Давилы за счет такой структуры расходящихся и сходящихся тропок предстает одновременной дискретной (смирение) и монолитной (твердость веры).

С проблематикой же его воззрений — опять же не проверяю, но не запрещают ли его книги какие-нибудь особо прогрессивные вокисты и благостные левые? Явно не изучают на кафедрах всего одобренного, в этом можно быть уверенным — по нашим временам сложно. Ибо был он убежденным реакционером, противником какого-либо прогресса, осуждал современную цивилизацию в хвост и гриву, идеологию, культуру и науку наших дней попросту презирал. Отдельно — и постоянно, даже не ехидства, а тотального разочарования ему хватало — он троллил левых, коммунистов, демократов и сторонников прогресса. Правым, впрочем, тоже доставалось. Он был, да, реакционером, в том смысле, что охранял, пытался охранять даже не идеалы из достойного прошлого, а интенцию возврата к чему-то благородному. Всё достойное, писал он, появилось пару тысячелетий назад, последующим временем —

что не породило ничего достойного — проверялось на прочность. «Идеалом реакционера является не райское общество. Им является общество, напоминающее то, которое существовало в мирный период старого европейского порядка, Альтегора, — до демографической, промышленной и демократической катастроф».

Предупредив и предупредив, сначала, возможно, стоит что-то сказать о жанре. Схолии, по словарному определению, это небольшие заметки на полях или между строк классического произведения. Тут верно, справедливо абсолютно всё. И Гомес Давила читал больше классику или же (точь-в-точь как Юнгер) каких-то редчайших, всеми упущенных авторов прошлого. И писал он — один большой комментарий. Как «Бесконечный тупик» Галковского — это гигантский комментарий к крошечному на его фоне тексту, так и тут — еще больше (а самого комментируемого текста и нет). «Схолии» Гомеса Давилы — это комментарий к несуществующему. К несуществующему дважды. И нет этого идеального текста. И не может быть, автор умён и отнюдь не субъективен. А ещё — эта тема проскальзывает у Гомеса Давилы, и она очень интересна — как и все реакционеры, сторонники невозможного, неосуществимого, он апеллирует к чему-то, что не просто не может осуществиться в нынешних условиях нашего порушенного убогого века, но и вообще выбивается из всех его оснований и разумений, нарушает глубинные людские конвенции<sup>8</sup>, не на периферии даже, а за гранью. Это — обреченная надежда, что мы «научимся различать за слишком прекрасными словами то, что не позволяет себя выразить, да и не может быть выражено»<sup>9</sup>, по формулировке Дефоре. Это — образ из воздуха сейчас совершенно — как описывать колибри над танковой колонной. И выводить законы не просто эстетические и этические, но политические и юридические из геометрии полета птицы, из пёрышка, слетевшего под гусеницы железного века. Ибо в веке золотом было как-то так, а всему последующему не верить.

На что всё это похоже? На просто афоризмы. Изысканные и скупые, тонкие и горькие, сухие и коварные. «Элегантность, достоинство, благородство — вот единственные ценности, которые жизни не удастся обесценить». Самое последнее дело сравнивать в рецензии текст с напитком, этакий кулинарный изыск второй свежести, но каждый его афоризм — это глоток виски или коньяка безумных, столько не живут, лет выдержки. Остальная современная литература там — отрывком вчерашнего разбавленного пива в пабе после потасовок футбольных фанатов. «Те, кто объявляют, что реакционер бесплоден, забывают о том, какую благородную функцию выполняет ясная формулировка нашего отвращения».

Стиль этот — ещё одну банальность скажу — идеального афоризма. И вот тут, про стиль, интересно. При всей свехоригинальности взглядов (кто ещё будет говорить в наш демократический век, что он за аристократию, феодализм, иерархию-кастовость, а вся современная культура — балаган смердов?) и стиля, Гомес Давила скорее — вот именно что идеальный афорист, наподобие и на уровне Георга Кристофа Лихтенберга или Карла Крауса. Дать, как при дегустации бокала с закрытыми глазами и непоказанной бутылкой, кому-то, так назовет Паскаля или Ривароля, потеряется между Шопенгауэром и Шамфором, или, может, это забытая строка из Кьеркегора, дневников Кафки?

Хотя, возможно, и волонтаристски, я бы сравнил Гомеса Давилу с греком Е.Х.Гонатасом. Происходивший также из богатой семьи, библиофил, отдающий предпочтение древней литературе, эстет (сам печатал свои книги с изысканными шрифтами и иллюстрациями и тоже далеко не миллионными тиражами), бежавший мирской славы, живший похоже в своем большом удаленном доме, он не только

жизненными стратегиями напоминает нашего колумбийского гения-маргинала. Странное, меж жанров — начать с того, проза это, поэзия, стихопроза? — письмо его в несколько строк, часто в одно предложение, а рассказы-сказки-сны в абзац<sup>10</sup>, живет где-то в области той же сгущенной суггестивности и облачено в те же вериги скромности (не весь вечер у микрофона, дорвавшись, а пара предложений максимум), что и Гомеса Давилы. Для обоих и тишина выступает как точка сборки (эпиграф из Мандельштама у греческого писателя «отчего так мало музыки и такая тишина?» — вот ещё и «русская тема» в копилку общего), опора и платформа в этом порушенном мире войн и деградации, хотя и пути к/от этой общей платформы несколько разнятся. Гомес Давила видит в тишине более совершенную вербальную, звуковую форму, тишина как высшая форма развития слова и мысли. У Е.Х.Гонатаса же музыка следует за тишиной, выступает как путь к музыке сфер, то есть своего рода медитация перед принесением жертвы Аполлону. Суть различий может быть связана с эстетическими аспектами веры обоих авторов — замешенной на опаре античного великолепия, но чуть более холодной стилистики католицизма у Гомеса Давилы и более полнокровной греческой веры, приправленной надеждой на возможности прогресса, у Е.Х.Гонатаса. Но, конечно, подобные аналогии — дело вкуса, и вообще не обязательны, как мы помним из Валери, уподобления для уникальности.

Здесь же мне видится опять же сознательная интенция, особенности самоощущения. Он, Гомес Давила, пишет всего лишь схолии, какие-то трактовки к великим текстам века классики. Да и вообще — вчера была интересная беседа в библиотеке, что-то удалось нащупать, друзья настоятельно просили доформулировать на бумаге.

Посему — да, конечно, можно выводить особенности стиля Гомеса Давилы (кто-то, кто не испугается объема, еще привлечет компьютеры с ИИ, подсчитает, расставит по полочкам, да, тут так и вспоминаются наши семиотики с их любовью к статистике, словарям и прочему). Например, как он не только всё время возвращается к одним и тем же темам, но и — ведь мы помним о его скромном правиле не быть длиннее короткого абзаца — часто нанизывает афоризм на афоризм, делает такие рэнга, сцепку отдельных стихотворений.

А можно даже не определить его относительно других таких же редких авторов, а просто почувствовать их по ходу чтения. (Расписавшись в своем критическом бессилии? Что ж, Гомес Давила — занятно, что его интересовала такая мелкая тема, но о критиках он пишет часто, эта одна из его вечно возвращающихся тем — сказал же, что «для критика важен анализ и ослеплённость», так вот второе.)

И иногда в тексте видишь Юнгера (зависимость можно было бы нафантазировать, Юнгер ориентировался на Гомеса Давилу? Вряд ли, это скорее было несколько людей, кто так писал, как те тайные праведники, что держат мир). «Умный и культурный человек — это тот, кто, как старые девы-сплетницы, интересуется вещами, которые не касаются его шкуры». И — следующий афоризм, вот тот случай сцеплений, идут паровозиком — «Изменить мир: занятие каторжника, смирившегося со своей судьбой».

Но здесь же, в оттенках вкуса, и какие-то нотки утонченного пессимизма Чорана, разве нет? «Ницше был единственным благородным жителем брошенного мира. Только его выбор мог бы быть без стыда представлен перед воскрешением Божьим».

«Оригинальный мыслитель труден, но не тёмен», а «писатель, безразличный к популярности, стремится быть современником не писателям своего времени, а тем писателям, которыми он восхищается».

Строчки, что легко можно было атрибутировать Чорану или Юнгеру, будут попадаться здесь и там. А вот вдруг не что-то ли хайдеггерианско-витгенштейновское в «Слова не передают: они напоминают»? Или неожиданная прямолинейность Уэльбека забрезжит: «Либертианские притязания современного гражданина ограничиваются заявлением права без оков сношаться в тюрьме, куда он заключен».

И Гомес Давила — который, вот уж неожиданность для эстета, и о сексе пишет, но, разумеется, со всем скепсисом и интеллектуальным ядом-кислотой — может быть очень разным. Лиричным — «улыбка существа, которое мы любим, является единственным эффективным средством против скуки». Циничным — о, гораздо чаще — как тот же Шатобриан (о котором он и рассуждает несколько раз): «Буржуа отдает власть, чтобы спасти деньги, потом отдает деньги, чтобы спасти шкуру, а потом его убивают» (да, очень много потеряли политики, которым не удалось переманить в свои ряды Гомеса Давилу!). Он легко может быть барочным: «Поэзия вечного — это аромат трупа смерти». Или же просто сказать, что «Бог — хозяин тишины».

И пример. Как Гомес Давила жесток в провозглашении своих взглядов, но при этом ох как далёк от какой-либо однозначности (от морализаторства и ригоризма — ещё дальше). О Боге, религии, теологии, отдельных религиозных мыслителях он пишет более чем часто. Убежденный католик, он не мыслит — тут речь о себе уже скорее, не массах — свою жизнь вне старого доброго (и не очень) католичества. Он взывает к Богу на каждой странице, хотел бы видеть и современную цивилизацию не в лоне церкви, но в настоящей вере, она поможет. «Я говорю о Боге не для того, чтобы кого-то обратить, а потому, что это единственная тема, о которой стоит говорить». Но при этом подход его к религиозно-церковным вопросам не только нюансирован, но и даже может показаться противоречивым на сторонний взгляд. «Религия ничего не объясняет, а всё усложняет»; «Или Бог, или случайность: любой другой термин маскирует или то, или другое»; «Смертельный враг Бога — уважительный неверующий»; «Адаптировавшись к “современной ментальности”, христианство стало учением, придерживаться которого ни трудно, ни интересно». Всё это — и очень многое другое, я лишь взял сейчас несколько цитат из самого начала — говорит глубоко верующий человек. И очень, очень умный и трезвый человек. «Защищать христианство надо не от “аргументов” вчерашнего и сегодняшнего “сциентизма”, а от гностического яда». Защищать, сказал бы он далее, и не надо. Надо оживлять. Тем ядом тончайшего и незашоренного анализа, что и есть лекарство. Фармакон.

Как и сам Гомес Давила, что-то превозносящий, но при этом отрицающий большую часть того, что составляет цивилизационный ареал современного Запада. Футуристам, сюрреалистам, анархистам, панкам и революционерам-нигилистам всех мастей стоило бы, право, пролистать колумбийского библиотечного затворника, чтобы понять, что их негация — лишь детский лепет укорененных в системе. Молодость? «Молодые люди яростно трясут головой, чтобы лучше приспособить свою шею к ярму». Секс? «Эротизм — это бешеный ресурс агонизирующих душ и эпох». Кредит веры в современность? «Грехи современного мира смердят меньше, чем его добродетели». История? «История переходит от одной темы к другой, как беседа дурака». Революция? «Глупость — это топливо революции. Революция, чего бы она ни хотела, заканчивается засорением канализации». Левые и правые? Да они «просто спорят, кто будет властвовать индустриальным обществом. Реакционер жаждет его смерти». Демократия? «Присутствие толпы в политике всегда заканчивается адским апокалипсисом. Наша цивилизация — это дворец в стиле барокко, в который вторглись растрепанные толпы». Может быть, наука? «Тюрьмой является все, конструируемое

по науке»<sup>11</sup>. Прогресс в целом? «Наш век медленно погружается в болото спермы и дерьма. Имея дело с нынешними событиями, будущий историк должен будет надеть перчатки». Или, в конце концов, свобода? В феодальном, иерархическом понимании, в том, где церковь — не служанка государства, а государство и церковь — теократические ступени к возделыванию себя и вознесению к небесному, парусии и Царству: «Когда мы забываем, что быть свободным означает иметь возможность найти того господина, которому мы будем служить, свобода превращается в полную противоположность того, что нами будет командовать самый гнусный из господ».

Да, тут гораздо больше вопросов, чем ответов, ведь «философствовать — это не решать проблемы, а проживать их на определенном уровне».

По сути, Гомес Давила, как и Эвола, поднимал своё — очень личное и интровертное — восстание против современного мира. «Современность разрушает больше, когда строит, чем когда разрушает». И да, его называют реакционером, религиозным мыслителем, мистиком даже, но с интегральным традиционализмом у Гомеса Давилы находится много значимых пересечений. Иерархия, за которую он выступает, «происходит с небес. В аду все равны», — утверждает он. И если «современный человек более всего ощущает себя личностью тогда, когда он делает то же самое, что и все остальные», то современный мир — ад. Но и это, как любая политика, идеология и вообще движение группы людей во имя чего-то, суета, тщета и пагуба.

Может ли он, при таких-то взглядах, надеяться на какую-либо толику победы? Нет, разумеется. Это обреченное рыцарское служение, сродни тому, как Кант определял красоту целесообразностью без цели. И он поёт гимн побежденным. Возможно, ещё и потому, что столь мерзок современный мир, что как-то связываться — лишь пачкаться. Ведал ли он (всё же он был сильно погружен исключительно в европейскую цивилизацию) про такой концепт средневековой японской культуры, как красота благородного поражения, я не знаю<sup>12</sup>, но разделил бы его — точно. «Будем всегда держаться с теми, кто проигрывает, чтобы не стыдиться того, что делает тот, кто выигрывает». Аминь и почитаем его, ведь «умный рассказ о поражении — это тонкая победа побежденного».

Более чем очевидно уже, что никаких призывов у колумбийского мудреца нет и быть не может. Ведь и «скептицизм — смирение ума». Есть, возможно, слабая надежда. Чаяние. Не погребенное в выгребной яме современного, не разъеденное кислотой скептического ума. «Всякое утверждение, которое не мучит тайная боль, является простой бесцеремонностью». Надежда на веру. И вера в ум и культуру. «Во мраке зла интеллект — последнее отражение Бога, отражение, которое нас упрямо преследует, отражение, которое погаснет лишь на последней границе». Ибо «культура призвана дать душе прекрасный аромат», а «целью жизни является рождение чего-нибудь благородного». В такую тончайшую линию, проходящую где-то на окраинах глухой и грубой современности, в эту схолию к ненаписанному, он, кажется, верит. Или же просто в тишину — «богоявление происходит только в тишине леса. Или в тишине души».



## *Разведчик растущей пустыни*

**Елена КОСИЛОВА. На пути к философии. Путевые размышления. — СПб.: Алетейя, 2022. 296 с.**

Совсем без Юнгера мы не обойдемся и вспомним всё же ещё раз «Уход в Лес» (тем более что и автор-герой следующей книги любит прогулки за городом и в лесу<sup>13</sup>): «Впрочем, разные иные политические идеи мало нас занимают. Всё дело, напротив, в опасностях и страхах, подстерегающих одиночку. Всё те же противоречия раздрают его. Сама по себе его жизнь наполнена желанием посвятить себя своей профессии и своей семье, к чему и лежат его наклонности. Но вот эпоха предъявляет свои требования — бывает, что условия потихоньку ухудшаются, а бывает, что он вдруг видит себя атакованным с неожиданной стороны»<sup>14</sup>.

Рассуждений о страхах одиночки, о пути философа в мире будет много в книге Е.Косиловой, переводчицы Гомеса Давила. Автор — настоящий философ, в двойной, удвоенной, что ли, степени. Не только потому, что им и работает, преподает в МГУ, активно участвует (статьи, сборники, конференции) в научной жизни, но и потому что философ — действительно по призванию. Уходя с работы, а потом из дома (от одиночества не может там сидеть, мыслить лучше в динамике), она — думает, работает мыслью, осмысляет и рассуждает. Постоянно почти. Это то, что называется призванием, вот именно оно (и закончив, как пишет автор, биофак, она к нему стремилась и пришла).

Так всю жизнь работал Гомес Давила над своими схолиями? Так оба они работают над мыслью. Рабочая смена мышления не заканчивается с заводским гудком.

Гомес Давила, кстати, так или иначе освещает начальные страницы — да и саму структуру книги. «Эта книга не имеет никакой сквозной темы. Это собрание размышлений, которые я писала в последние годы, обычно в транспорте, в Ворде на мобильном телефоне, одним пальцем. Это путевые заметки на моём пути к философии». То есть опять же — схолия, комментарий к чему-то главному, темы на подступах к теме.

Является Гомес Давила и собственной персоной на следующей странице (но, сразу скажем, это не тот случай, когда при каждом удобном и неудобном случае переводчик будет вспоминать свой подвиг — затем Гомес Давила корректно откланяется и покинет сцену): «Я однажды перевела с испанского Н.Гомеса Давилу<sup>15</sup>, анахорета, который принципиально писал не более чем для ста человек И не хотел публиковаться, его с трудом уговорили, и тираж был крошечный А он очень интересный Так вот, я не анахоретка В анахоретстве, конечно, есть своя правда Я целую статью пару лет назад написала про то, что субъект — это тот, кто говорит “Нет”, причем это Нет обычно направлено против коллектива и социальности».

От социальности, между тем, Е.Косилова буквальным образом уходит. Ибо если говорить непременно в рецензии о жанровом, то «На пути к философии» — травелог чаще всего, результирующий в рассуждениях (по авторскому определению, «медитации», и это хорошо, стыдно всё о себе, но и как отсутствие точек, термин этот я активно использую, он ведь, конечно, больше о ноосферном, чем о зале для йоги).

«Мне досталось проверить 65 работ Устала Теперь еду гулять по Калуге, хочу там вытряхнуть все из головы и загрузить голову, наконец, Гуссерлем и проблемой

конституирования объективного времени В перерывах между экзаменами я читала по-немецки поздние тексты Гуссерля, нелегкое было занятие, он много повторяется, и чувствуется, что это писалось не для публикации». Так вот вся книга и будет. Дневниковое (а коренится все это в постах для «ЖЖ» и ныне запрещенной соцсети), травелогическое и философическое. Пропорции разные, но неизменные. Может напомнить книги Дмитрия Данилова — в последних «Пустых поездах» он так же ездит и думает, как любит, по ее признанию, размышлять автор в подмосковных поездах. Разница лишь в том, что Данилов фиксирует реальность, даже протоколирует, описывает. А для Косиловой реальность это всего лишь фон. Главное для неё — это сосредоточенность на мыслях. Отличие не столь разительно, потому что и у Данилова, разумеется, окружающее становится кормом для мысли, возможно, не столь явно артикулированной, ибо он надел на себя вериги коренящейся в религиозности скромности мышления (здесь можно было бы сказать, начинает он, но окорачивает себя — впрочем, не буду, зачем). Главное у обоих — мысль, законным пейзажем порождаемая. В нём лучше, чем в городе, себя чувствующая. Как есть человек в пейзаже (Битов), так тут — мысль в пейзаже.

«Он (всё тот же ещё Гуссерль. — А.Ч.) имманентист. Ему главное описать имманентную временность. Всякое внешнее он называет трансцендентным и рассуждает так, как будто оно строго вторично <...>. Если есть всеобъемлющее время, то почему одновременность относительна, вот чего я не очень понимаю. Электричка едет около Нары. Мне бы надо поразмыслить над теорией относительности, как в ней обстоят дела со временем».

А иногда текст может напомнить травелогические пассажи из книг Ольги Балла (например, ее многотомного проекта «Дикоросль»), где та примеряет к себе города, себя к городам, анализирует ощущения от них, их психогеографические особенности. Здесь так о Петербурге, Нижнем Новгороде и любимых малых городах и деревнях Подмосковья. «Нижний Новгород очень понравился, я в нем как-то хорошо себя чувствовала. Хотелось ходить».

Впрочем, речь сейчас совершенно не о том, кто на кого похож. Похожи они в одном главном, общем — мышлении. Постоянном. Принципиально не ограничивающем себя — вот на работе поработал, а в поезде отключусь и подремлю, — никогда. И ничем. Ибо — а это уже даже не философская, а религиозная мысль, но и тут нет смысла делить на направления и кафедры, всё едино в пределе — смысл есть везде.

Как для Розанова. Хотя и сравнение любого неформализованного нарратива с ним меня самого сильно раздражает. Так что пусть — для Гачева.

И не только, конечно, в самой философии, которой — некий читатель и сломается, возможно, — будет весьма много. Вот от Гуссерля и Хайдеггера примерно до самых последних имен (их, континентальных и нет, я совсем не знаю, Мейясу там единственный знакомец).

И сие, кстати, ценно. Как сейчас любые неутилитарные вещи пытаются наделить, определить практической ценностью (посмотрев эту презентацию, вы узнаете десять способов прокачать скиллы своих вайбов!), так и тут — столько имен для первоначального знакомства и последующего изучения.

Но, конечно же, кроме анализа чьих-то философских воззрений на математику (автора сейчас волнует эта тема) и сопутствующих импликаций, интересны собственно авторские взгляды. «Конечно, многие философы этот спор с собой скрывают. Делают

уверенное лицо Витгенштейн велик тем, что он уверенного лица не делал, по крайней мере, в поздних записях».

Вообще ничего, кажется, не скрывает о себе и Е.Косилова, настолько, что можно вспомнить остроумный и сверхактуальный жанр автофикшена (почему, кстати, не немецкого или японского эго-романа?). Полное семейное одиночество («сейчас никого нет Мать умерла 4 года назад Я уже не боюсь быть одна») и неуверенность в своем призвании к преподаванию, опыты с алкоголем (вспоминаются откровенности дневников Т.Горичевой) и приближающаяся старость — обо всем и все, до полного обнажения. «Я много думала о профессии преподавателя философии Я, конечно, люблю философию, но по большому счету мое ли это место? Нет, по большому счету — нет <...> Что было бы мое? Я не знаю Раньше писала романы и повести, считала это своим Но сейчас писать не о чем Передо мной пустыня Раньше любила религию, размышляла о религиозном экзистенциализме, но сейчас все ушло Люблю религию только чужой любовью, для меня там нет ничего Пустыня и темнота Но похоже, что как бы ни было пусто и темно впереди, пустыня-то как раз это мое <...> Мы не обязательно наилучшие исполнители своей функции Так сложилось И надо идти в эту пустыню и быть разведчиком».

«Поэтому я и катаюсь, в поездке как-то забываются личные проблемы. Но они есть, есть». И Е.Косилова поет им(и) песнь побежденных. Мы же помним Гомеса Давилу и вообще многих очень умных и очень проигравших — в общечеловеческом забеге — людей? «...Моя тоска — это мое достояние и мой инструмент работы Это откровение сущего, как говорил Хайдеггер В тоске открывается подлинное лицо сущего, не заслоненное и не замутненное проектами Чтобы отследить конституирование смысла, надо его остановить, рассмотреть Надо, чтобы временно все стало бессмысленным Это операция без наркоза, потому что ты проводишь ее сам».

И это дает повод порассуждать об очень многом. Как Гомес Давила, возвращаясь — там пересадка или от поезда на автобусе домой — к тем мыслям и темам, с которыми назначено свидание. О старости, либидо, Витгенштейне, смерти, мире без письма, юдофилии, церкви, мистиках («я сама мистик немного») и атеизме. О многом и частном, на ходу и глубоко.

А ещё в книге много интересной музыки, от Олега Медведева до Эрика Бёрдона.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> При том, что в русской традиции официально полагающееся поименование двумя фамилиями (отцовская Гомес и материнская Давила, в данном случае) как-то исторически не прижилось и чаще всего усекается до одной (и Гарсия Маркес становится просто Маркесом, а Сервантес обходится без Сааведры), будем придерживаться — имея дело с весьма голубыми кровями — этикета и церемониала. Тем более что короткие ФИО, не в десяток имен (как у тех же Дали и Пикассо), позволяют. При этом будем готовы к любым вариантам — к Гомесу Давиле и просто Гомесу в предисловиях к этой книге (сокращение до отцовской фамилии легитимно, хотя тут случай, примерно как с Толстым, — фамилия Гомес редкостью не отличается, но если все собеседники понимают, что речь именно о том самом...), любым в русской традиции (впрочем, для пересчета источников тут хватит пальцев одной руки), Гомесу Давиле в англоязычной, просто Давиле в немецкой...

<sup>2</sup> «Мои святые покровители: Монтень и Буркхард».

<sup>3</sup> И тут любопытно, что, скажем, статья, посвященная Гомесу Давиле в англоязычной Википедии ([https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolás\\_Gómez\\_Dávila](https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Gómez_Dávila)), — это сама по себе схолия, буквально страничка с грошами. И еще любопытно, что в нашей стране, где по переводам

Юнгера мы уже успешно опережаем весь англоязычный мир, текста всё же больше. Хотя какая в принципе разница — жизненных фактов всё равно крайне мало, они и повторяются везде.

<sup>4</sup> А происходил род, как пишет в своём предисловии В.Дворецкий, «из известного исторического города в окрестностях испанской столицы Авила, одной из резиденций королевского двора средневековой Кастилии, центра католической мистики и места упокоения великого инквизитора Томаса Торквемады». Под лупой мистицизма Давилу также можно рассмотреть, многое любопытное обнаружится.

<sup>5</sup> «Историки литературы описывают множество посредственных романов и не замечают великую ученую литературу (например, Целлер, Роде, Пёльман, Шюрер, Вилаговиц, Гарнак, Норден и т.д.)».

<sup>6</sup> То, что современность тяготеет к крайнему упрощению (презентация вместо дипломной работы или доклада, видео блогера вместо статьи эксперта и прочая «расскажем в карточках») не должно вводить в заблуждение — путанность сознания явлена тут едва ли не больше.

<sup>7</sup> О структурах (от атомов до планет) — называемых планктонами — имеющих сферическую структуру, см.: *Гринченко С.* Пространство и время с позиции кибернетики // Киберленинка (<https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-s-pozitsii-kibernetiki-chast-1/viewer>). Процесс эволюции в данном случае понимается как перманентное нарастание числа ярусов в иерархии, а повышение эффективности в контурах оптимизации прямо связано с понижением устойчивости системы живого. Посему, увы, нам всё дальше предстоит удалиться от «гармонии сфер» Пифагора.

<sup>8</sup> Он это не формулирует — в конце концов, он пишет схолии и только схолии, а не, Боже упаси, трактат и манифест. Но вот просто маленький намёк на то, что его логика и мысль отклоняются, в мелочах, но не хотят коррелировать с общепринятым. Связка из четырех афоризмов, которые и для экономии места в том числе я не буду разбивать: «Ни христианство, ни язычество не проповедуют альтруистическую этику. Как христианская, так и языческая мораль — это виды этического индивидуализма, которые вменяют общественные обязанности только в качестве средства для нашего земного усовершенствования или нашего загадочного спасения. К счастью, в любую эпоху есть дураки, бесконечно способные на очевидное. Этическая норма запрещает нам видеть людей как средства и Человека как цель. Человек полагает, что его немощь — мера вещей».

<sup>9</sup> *Дефоре Л.-Р.* Ostinato. Пер. с фр. М. Гринберга // Ostinato. Стихотворения Самюэля Вуда. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. С. 265.

<sup>10</sup> Е.Х.Гонатас: «Рассказ — это томография реальности, срез реальности. Рассказу необходима ещё одна вещь, ему нужна более искусная рука, он ближе к поэзии, поскольку он сжатый, маленький, в нём нет места головотяпству. Только искусный писатель может сочинить качественную новеллу». *Абадзопулу Ф.* Гонатас — Россия // Гонатас Е.Х. Гостеприимный кардинал / Пер. с греч. К.Климовой. — М.: ОГИ, 2019. С. 20. Так, кажется, мыслил своё письмо и Гомес Давила.

<sup>11</sup> К хайдеггеровскому «наука не мыслит» Гомес Давила вообще мог бы добавить с дюжину инвектив сциентизму — и людским упованиям на его счет.

<sup>12</sup> Так же вряд ли знал он о такой идее Беньямина, как «исторически побеждённые», а уж подавно знать не мог о совсем недавнем философском направлении «слабая мысль» (*pensiero debole*).

<sup>13</sup> «И ни с кем не говорю, а молча иду по лесу» Отсутствие точек — особенность авторского стиля. Восходящая, возможно, к этому самому набиванию текстов в смартфоне. Не знаю, вполне возможно, и к чему-то другому. Но сам я где-то с год назад тоже отказался от точек и пр. в конце предложений в мэйлах. И так ведь ясно. И как-то скромнее. Да и опыт общения с другими языками (например, японским, где нет ни заглавных букв, ни пробелов между словами, ни родов) показывает, что «без многого легко можно обойтись».

<sup>14</sup> *Юнгер Э.* Уход в Лес / Пер. с нем. А. Климентова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. С. 60.

<sup>15</sup> А посвящена эта книга тому же В.Дворецкому, под редакцией которого выполнен перевод колумбийца и чье предисловие открывает предыдущий том.

Ольга Балла

## Ens philosophans

Весь этот обзор обязан своим существованием самой первой его книге. В ней важно даже не то, что она — о чтении. Чтением как таковым внимание автора на самом деле не ограничивается и захватывает также и такие лишь внешне прикосновенные к нему области, как коллекционирование книг — причём и в качестве бумажных объектов, и, что, наверное, реже, но зато ближе к основной теме, — самого факта их прочитанности (то есть независимо от того, на бумаге ли, с монитора ли прочитана книга и остаётся ли она при этом у прочитавшего). Самое же интересное — то, что чтение рассматривается в ней в качестве *философской практики*.

Вот! вот оно!! — воскликнул внутри себя автор этих строк, поразившись неожиданности такой постановки вопроса, но более всего — богатым возможностям концепта «философская практика».

То есть можно было бы — как вообще-то вначале и замышлялось — сделать обзор книг, посвящённых чтению (как культурной форме; тому, что оно делает с человеком на разных уровнях от социальных связей до процессов в мозгу и т.п. Всё-таки мы это непременно сделаем, потому что стоит только придумать тему, и книги собираются вокруг неё сами. Только чуть позже). Но оказалось, что куда интереснее и плодотворнее задаться вопросом: а какие ещё мыслимы философские практики (помимо, разумеется, такой очевидной, как занятия философией в академических рамках и за их пределами)? Какую практику вообще стоит считать философской и как она при этом устроена?

Как и следовало ожидать: стоило задаться вопросом, как книги немедленно начали предлагать свои ответы на них — только лови и осмысливай. Послушаем же, что они отвечают.

**Роберт ПИРСИ. Чтение как философская практика / Перевод с английского Анны Васильевой. — Ереван: Fortis Press, 2024. — 208 с.**

Роберт Пирси — философ профессиональный и академический: профессор философии Кэмпбелл-колледжа Реджайнского университета в Канаде, редактор журнала *Philosophy in Review*, автор по меньшей мере двух академичнейше философских книг: об использовании прошлого от Хайдеггера до Рорти и о кризисе в континентальной философии (по крайней мере это сообщает нам о нём аннотация; иные его труды, похоже, на русский не переводились), — предпринял нетривиальную (во всяком случае, на взгляд неспециалиста) попытку увидеть философскими глазами и осмыслить в философских категориях простое бытовое, ради удовольствия и отдыха

предпринимаемое чтение. Ладно бы ещё работу с текстами коллег-интеллектуалов или чтение философских трудов! А то вон ведь что.

«Моя цель в этой книге, — говорит автор, — изучить опыт обыкновенного читателя. Я не буду рассматривать только те виды чтения, которыми занимаются ученые. Напротив, я сосредоточусь на тех видах чтения, которые лучше всего знакомы большинству людей, — повседневному чтению в удовольствие, — и на опыте, который люди, читая, получают. Я уделю особое внимание головоломкам и парадоксам, связанным с этими переживаниями, и воспользуюсь инструментами академической философии, чтобы попытаться разобраться в некоторых из этих головоломок и парадоксов».

На что тут важно обратить внимание? Думается, ключевых слова ко всему этому два: опыт и парадокс. Исследуется в книге, во-первых, структура опыта, во-вторых — коренная, неустранимая его парадоксальность. А простое бытовое чтение, оказывается, даёт для этого очень много интересного материала.

(Ещё не лишним, пожалуй, будет понять, что автор понимает под практикой. Практику он, вслед за американским философом Аласдером Макинтайром, определяет как «любую последовательную и сложную форму социально учреждённой кооперативной человеческой деятельности, через которую блага, внутренние по отношению к этой форме деятельности, реализуются в ходе попыток применения тех стандартов превосходств, которые подходят для этой формы деятельности и частично определяют её с тем результатом, что систематически расширяются человеческие силы в достижении превосходства, а также соответствующие концепции целей и благ». Мы же, вольные неспециалисты, расширим и упростим это определение для собственных целей следующим образом: будем считать практикой любую хоть сколько-то систематическую и регулярную деятельность с некоторым минимумом правил. Философская практика — это такая, посредством которой человек проясняет для себя нечто самое коренное, относящееся к нему самому, к миру и к способу своего существования в нём.)

Автор обильно ссылается на коллег-теоретиков, включая и таких, которых наши собратья по языку и культуре в большинстве своём вряд ли читали, на каких-то англоязычных теоретиков и колумнистов англоязычной периодики, соглашается с ними, спорит с ними (но и на Аристотеля, допустим, и на Вальтера Беньямина, и на Вирджинию Вулф он тоже ссылается, так что мы тут не совсем в тёмном лесу). Свою книгу он адресует в первую очередь философам и философски подготовленным читателям. Но через некоторую — впрочем, не избыточную — терминологическую сложность её есть смысл продрапать и тем, кто к таковым себя не причисляет, поскольку речь идёт в конечном счёте о предметах совершенно общечеловеческих.

Чтение, говорит Пирси, способствует самоосознанию человека, выявлению им в себе самого себя: и помимо приносимых им знаний, доставляемого им развлечения, и с помощью всего этого, но прежде всего — в силу самого своего устройства, вследствие типа прилагаемых человеком при этом усилий (а усилия прилагаются всегда, даже когда речь идёт о развлекательном чтении). Это, показывает он, — человекообразующая деятельность.

Он подробно рассматривает устройство читательского опыта: разные тактики и модели чтения, принятие читательских решений: «...Когда обыкновенные читатели размышляют о том, насколько чтение важно для них, они имеют в виду множество разных видов деятельности, и время, которое они тратят, пробегая глазами по странице, это лишь одна из них. Бывают решения о том, что читать и как: начать ли мне снова “Моби Дика”, хотя Мелвилл никогда по-настоящему меня не захватывал? Сколько попыток прочесть эту книгу я должен предпринять? Сколько мне прочитать,

прежде чем снова отложить её? Бывают решения относительно разных целей, которые я привношу в моё чтение: сколько я могу посвятить чтению, чтобы просто развеяться, а сколько книгам (если таковые имеются), которые, как я надеюсь, послужат мне назиданием? Сколько художественной литературы и сколько нехудожественной? Бывают решения по поводу перечитывания: отпуск мне лучше провести с классикой, которую я никогда не открывал, или перечитать любимую книгу, которую я уже читал дважды? Сколько раз можно перечитать любимую книгу, прежде чем она начнёт терять для меня своё очарование? Сколько ещё книг я смогу прочитать прежде, чем умру, и что мне с этим делать, и делать ли что-то? И бывают вопросы о влиянии чтения на мой характер: должен ли я чувствовать вину за то, что наслаждаюсь «Лолитой»?»

То есть самопроблематизация человека в отношении чтения вообще-то неминуема, даже если человек не отдаёт себе в этом особенного отчёта — он всё равно её проживает.

В книге три проблемных области — и, соответственно этому, три формально не выделенных части: влияние чтения на личность, этика чтения и — самое удивительное для неспециалиста — онтология: чтение и бытие.

После того, как в самой первой из глав автор анализирует самую идею философствования о чтении, две главы — «Читающее Я» и «Жизнь читателя» — он посвящает связям между чтением и, как Пирси это называет, самостью.

Также две главы выделяет он на обсуждение этических аспектов чтения — что совершенно не удивительно, поскольку этика и есть совокупность принципов отношений с другим / другими, а тем самым, вследствие этого, и с самим собой. Книги же — и как информация, в них содержащаяся, и как материальные объекты, и даже как идея — это полноценное Другое (организованное иначе, чем читатель, по определению не подвластное ему целиком и никогда не известное ему полностью, Другое как вызов, ограничение и стимул), в отношениях с которым, да, приходится выстраивать поведение. Тем более что мы это Другое ещё и впускаем в себя... Приходится заново устраивать свои внутренние пространства.

Пирси говорит о разных стратегиях понимания обязанностей читателя (перед кем? — отдельный вопрос; этим вопросом он тоже занимается). Он не конструирует эти обязанности, не придумывает их, а именно что вылавливает из воздуха своей культуры, в котором разлиты соответствующие представления разной степени осознанности. Небольшой спойлер: он полагает, что такие обязанности читатели чувствуют и перед текстом тоже! «Многие обыкновенные читатели сказали бы, что мои обязанности как читателя выходят за рамки этих личных желаний и нужд. Я чем-то обязан тому, что прочитал, и, если я не справляюсь, значит, я делаю что-то не так».

«Онтологическая» глава всего одна. Тут читатель, ищущий анализ именно читательского опыта, пожалуй, рискует быть разочарованным: на этих страницах автор всё-таки покидает тематическое поле чтения в его прямом смысле, то есть усвоения текстов, и переходит к обсуждению отношений человека с книгами как материальными объектами, а также с виртуальными телами электронных книг (а понятие «книга», в свою очередь, именно здесь расширяет до всего читаемого вообще). Он, правда, называет это «чтением вещей», но слово «чтение» тут явно звучит метафорически. Впрочем, это всё равно интересно.

И, наконец, последняя из глав посвящена прогнозам о будущем «обыкновенного читателя» в ситуации нарастания объёма цифрового чтения (опять-таки нет сил удержаться от спойлера: автор, что не слишком типично, смотрит на него оптимистически!).

Типичных читательских стратегий, то есть подходов к читаемому и в свете его — к самому себе, Пирси выделяет три. В соответствии с подходом «деонтологическим», наиболее обязывающим, «когда мы читаем, мы находимся в присутствии чего-то, обладающего особой ценностью, которая предъявляет к нам особые требования. <...> Книга может потребовать определённого критического отклика лишь потому, что она этого заслуживает». Подход, название которого переведено как «несхожий» (нет уверенности в удачности этого перевода, звучит довольно неуклюже), подразумевает внимание к «инаковости других» — соответственно, и текста тоже: не подгонять, значит, текст под свои ожидания, не сводить его «к способу своего бытия». Наконец, подход «эвдемонистический», как следует из его греческого имени, означает, попросту говоря, чтение в своё удовольствие. У каждого из этих подходов, даже у последнего, преследующего, казалось бы, исключительно гедонистические цели, есть, по словам автора, свои проблемы и трудности. И возможно, утверждает он, не только осознавать и все эти трудности и сам тип собственного чтения, но и менять эти типы по собственному произволу. Даже прямо даёт советы, как это делать.

То есть, хотя книга Пирси по своему замыслу и не практическое руководство, — в этом качестве она тоже способна пригодиться. Слава Богу, стратегий чтения много!

**Михаил ЭПШТЕЙН. Память тела: рассказы о любви. — USA: Franc Tireur, 2024. — 283 с.**

Философу, филологу, теоретику культуры, эссеисту Михаилу Эпштейну, уже не раз — в нескольких, всякий раз дополняемых и перерабатываемых изданиях — высказывавшемуся о любви в привычном для него эссеистическом, по существу исследовательском формате<sup>1</sup>, теперь захотелось испытать возможности художественного высказывания о том же предмете — причём возможности именно философские, смыслопорождающие. Теперь он пишет рассказы — чтобы тем яснее увидеть любовь, неразделимо телесно-душевную, как — да, именно как философскую практику (нужды нет, что сам автор этого — прекрасного — термина не использует; мы-то уже знаем, о чём идёт речь).

Разумеется, Эпштейн и тут — чистейший исследователь (и совершенно неспроста в предисловии к книге он именует её не чем-нибудь, а именно «энциклопедией» — любовных коллизий, сюжетов, ситуаций — «от игровых и иронических до трагических и фатальных». И то, что тут, как совершенно справедливо говорит автор, «интеллектуальная проза скрещивается с эротической» (что исчезающе-редко для русской литературы), не должно вводить нас ни в смущение, ни в заблуждение: всё-таки эротическая проза — один из самых адекватных языков описания интересующего нас состояния.

Важно же тут на самом деле то, что «одержимые жаждой познания и самовыражения, персонажи переживают телесную близость как вызов, риск, экзистенциальное испытание». Вот, вот оно! (воскликает опять же читатель.) Любовь, на самом деле, делает то, что и (вполне бесстрастно смоделированное Робертом Пирси)

---

<sup>1</sup> *Sola Amore: Любовь в пяти измерениях.* — М.: Эксмо 2011; *Любовь.* — М.: Рипол-Классик (серия «Философия жизни»), 2018; и третье издание, в 2-х томах: Т.1. Эрос: между любовью и сексуальностью. — М.: Рипол Классик, 2021; т.2. Прав ли Фрейд? Языки любви. — М.: Рипол Классик, 2021. Это три разных облика одной книги, которая постепенно разрасталась.



чтение: она проблематизирует границы человека. Она ставит его перед лично проживаемой проблемой и тайной «своего» и «чужого» в их взаимосотнесённости, взаимопроницаемости, взаимослиянии, взаимонедоступности... Только это всё отвлечённые слова, а Эпштейн-прозаик даёт пережить это на живых примерах. Ну и пусть выдуманных: что мы, настоящего, что ли, не выдумываем? Пуще того: события многих рассказов — уж не всех ли, по большому-то счёту? — происходят в значительной мере в воображении героев. Но что это меняет? — скорее, не меняет, а усиливает: воображение, как показывает нам автор, — реальность пореальнее осязаемой.

(Так что перед нами — ещё и рефлексия о природе и устройстве так называемой реальности.)

Чтобы опять-таки расширить возможности высказывания и добавить объёмности собственному взгляду, свои рассказы о многообразии любовных ситуаций и состояний Эпштейн — вполне прозрачно именуя себя «публикатором», именно так, в кавычках, — пишет от имени даже не одного гетеронима, а целых двух, с продуманными — по крайней мере, в основных чертах — биографиями, а значит, и жизненными, и литературными позициями (правду сказать, на стилистике текстов это не так чтобы сказалось, — стилизаторскими задачами Эпштейн явно не задавался, ему важно было как можно точнее смоделировать и описать ситуации — и да, это ему удалось): Степана Фёдоровича Калачова (1899—1974), уже знакомого внимательному читателю по книге «Любовь»<sup>1</sup>, и сына его Евгения Степановича (1948—2023). «Исследователям ещё предстоит разобраться, — пишет публикатор, — с вопросом, кому в точности принадлежат некоторые рассказы — отцу или сыну, — а какие, возможно, написаны ими совместно или завершены сыном по наброскам отца. Следует допустить участие и других представителей литературного круга, сложившегося вокруг них в 1970—1980-е гг. Более того, не исключено, что миграция текстов по разным поколениям и странам открыла возможность для мистификаций, для перевоплощения авторских личностей. Понятие авторства давно стало предметом вопрошания и игры...»

Да и не только, добавим мы, авторства. Любовное влечение во всех его вариантах тут тоже стало таким предметом — не только игры, но и вопрошания.

Вот как, например, рассуждают герои одного из рассказов Эпштейна... ой, то есть кого-то из Калачовых, — герои, правда, в данном случае философы, — по поводу того, что одежда волнующей женщины была «достаточно свободной, чтобы обрисовывать движение груди, но не её форму». Это, разумеется, лишь «усиливало её притяжение» и провоцировало созерцающих недоступное на следующие соображения: «У неё таинственная грудь <...> Мы как агностики перед загадкой божества: не можем ни утверждать, ни отрицать его свойства и даже само его существование»; «Нам дано воспринимать её энергию, но не сущность». Повествователь комментирует так: «Если сущность недоступна для прямого познания, то энергия воспринимается непосредственно, то есть воспламеняет. И действительно, при движении там проступала динамика пространства, которое жило, дышало, перемещалось, сминало ткань, играло складками, но своей сложной топологией ускользало от простых геометрических решений». А «один философ предположил, что женская грудь существует в двух состояниях: как материя, которая замкнута своей формой, — и как энтелехия, которая сама формирует своё пространство. И только во втором случае, у редких женщин, свободный покрыв даёт ощущение подвижной наполненности».

<sup>1</sup> *Эпштейн М.* Любовь. — М.: Рипол-Классик (серия «Философия жизни»), 2018. С. 348—381 (глава «Корпус X. Марксистская эротическая утопия»).

Но это, конечно, в своём роде экстремальный случай (практического) философствования; да и автор вместе с повествователем и обоими своими гетеронимами столь же серьёзен, сколько и играет, — тут не разделить, в том и прелесть эпштейновского повествования.

А кроме того, обсуждаемая практика даёт автору, от чьего бы имени он ни говорил, особенные возможности для рассмотрения устройства человеческой природы и коренной её парадоксальности. Примеры — почти наугад: «Холодный эрос» — это взрывчатая смесь: эротическая одержимость сочетается с эмоциональным отчуждением. В отличие от животной сексуальности, человеческий эрос растягивает наслаждение, превращая его в бесконечную игру притяжения и отталкивания <...> максимум жизненности — это именно контраст огня и холода». Ещё: «...Есть особая прелесть в этой развилке чувств, когда одна часть любимой — твоя, а другая остаётся недоступной». Конечно, всё это говорят персонажи, каждый из которых представляет собой, как персонажам и положено, лишь часть личности автора со всеми его возможными взглядами, а то даже и маску его, но тем не менее в каждой маске есть лишь доля маски. Человеку же, в практику вовлечённому, она даёт незаменимую возможность эту парадоксальность проявить и если не осмыслить систематически — не всякому такого хочется, — то, во всяком случае, тщательно прочувствовать, — и тут самое время вспомнить о том, что тот же Эпштейн писал о *философских чувствах*, — та практика, о которой тут идёт речь, вызывает, на самом деле, чувства именно что философского, антропологического порядка.

Эпштейн (вместе с обоими Калачовыми) здесь не только философ, он и психолог тоже, — тут есть такая вполне самоценная психологическая линия: линия наблюдений за душевными и умственными движениями людей, вовлечённых в любовное взаимодействие, — такими, которые не совсем (чаще совсем не) укладываются в их собственное понимание, опережают его — и всё-таки управляют им. Вот героиня одного из рассказов, упорно противостоявшая упорным же попыткам героя сблизиться с ней, говорит ему: «Господи, <...> я-то думала, что встретила своего человека. Что мы будем видеться в Москве. Как-нибудь устроимся (она так и сказала, поскольку была замужем). Я уже придумала маршрут, по которому мы будем ходить друг к другу. А теперь вы всё разрушили своим нетерпением или, правильнее сказать, бесчувственностью. Нам надо было лучше узнать, войти в доверие, ощутить друг друга. Тогда получилось бы и всё остальное. Вы сами всё разрушили».

Тут-то герою и открывается: «В этот момент я понял, что, да, сам разрушил наше прекрасное будущее в Москве, но — сознательно. Я был столь настойчив именно потому, что не хотел заводить отношения с замужней женщиной. Такой у меня был, как говорится, бзик: можно всё что угодно, но не это. В то же время у меня был долг “вести себя по-мужски”, оценить по достоинству её прелесть, наряд, весеннее платье... и меня действительно влекло к её коленкам. Получилась распялка чувств: желая этого, я этого не желал. Стараясь поспешно завязать узел этой связи, я одновременно разрубал его <...> У меня не было сил отказаться от влечения к этой женщине, но хотелось сделать так, чтобы она сама отказала мне, — переложить на нее ответственность за нашу не-встречу». (Пусть того, позже герой догадался, что и она сделала то же самое.)

Это не только о парадоксальности, не в первую очередь о ней, хотя, казалось бы, она тут на каждом шагу. Это каждый раз — каждый, какова бы ни была любовная ситуация, а их тут великое многообразие — о границах человека, об их подтверждении, проблематизации, прослеживании, защите, изменении их формы, прорыве (ведь любовь оспаривает эту заветную черту, которую не перейти влюблённости и страсти, так отчаянно, как, может быть, ничто другое).

Ну то есть, в самом общем виде говоря, — о том, до каких пор человек остаётся самим собой.

Среди любовных рассказов Эпштейна есть и фантастические, им отведён специальный раздел «Волшебство» (как будто в других разделах волшебства было мало, ей-богу!): «Голоса из будущего», «Оргия, или Боковая ветвь мироздания», «Полёты во сне и наяву». Рассказ «Комната» в том же разделе — просто о волшебстве, не нуждающемся ни в каких фантастических допущениях; а «Мумуха» — скорее уж сказка, и да, тоже о любви, о настоящей, которая вот прямо до смерти, только о такой, в которой, однако — удивительно ли? — телесного компонента нет вообще. Во-первых, потому, что это любовь к мухе (а человеческая женщина тут всё только непоправимо портит). А в ещё-более-первых... может быть, всё-таки — при всех великолепных, как будто даже незаменимых возможностях тела — не в нём тут дело? Оно в конечном счёте (без мухи с её трагической историей мы бы, пожалуй, и не догадались), — всего-навсего инструмент.

(А кстати: ведь и само писание текстов от лица другого автора — устроенного иначе, чем, так сказать, автор «исходный», — ещё какая философская практика: выход за собственные пределы — и вхождение в другие пределы, иначе очерченные, а значит — осознание и самих этих пределов, и их — по крайней мере до некоторой степени — преодолимости, проницаемости.)

**Михаил ЭПШТЕЙН, Сергей ЮРЬЕНЕН. Кульминации: О превратностях жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 288 с.: ил. — (Критика и эссеистика)**

Совместная, соавторская книга Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена автобиографична (а в случае глав, написанных Эпштейном, — ещё и автофилософична), подобно предыдущей их совместной книге — «Энциклопедия юности»<sup>1</sup>, разве что внимание в ней организовано принципиально иным образом: если «Энциклопедия...» строилась по словарному принципу — в алфавитном порядке и каждая из её словарных статей посвящена была одному из ключевых понятий или слов, связанных с юностью (авторов), то эта, новая, посвящена пиковым, самым-самым сильным — а потому и ключевым — переживаниям чего бы то ни было: преступного намерения (так!), алкогольного опьянения, спонтанности, иностранности, младенчества... Важно: тут, как говорят соавторы в предисловии, описываются переживания не просто наиболее сильные, но те из них, что достигают в своей силе «концептуальной чистоты» и означают вследствие этого поворотные моменты жизни, после которых та — в каком бы то ни было отношении — уже не могла оставаться прежней. Точки смыслопорождения. Что интересно и особенно: не само смыслопорождение, но то, что делает его возможным — а то даже и необходимым.

Значит — речь идёт о предприятии, по существу, философском: об осмыслении устройства человеческого опыта. Опыта вообще, любого.

(Отнести книгу к философии будет, однако, огрублением: в той же — неминуемо неполной — мере она должна быть отнесена и к художественной словесности, и к нонфикшну, — самое же правильное, кажется, причислить её ко всему этому одновременно, ухватившись за спасительное слово «эссеистика».)

Авторы, конечно, выстроили выявленные ими кульминации в систему, в соответствии с которой и разбили книгу на разделы. Такое устройство книги выглядит

---

<sup>1</sup> Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. Энциклопедия юности. — М.: Эксмо, 2018.

более проблематичным, чем безотказное алфавитное (зато в самом этом делении уже есть антропологическая концепция, от которой алфавит свободен): согласно этой системе, кульминации мыслимы «роковые», «экзистенциальные», «романтические», «моральные», «идейные», «народные», «исторические», «религиозные», «символические», «литературные», «креативные» и, наконец, «финальные». Понятно, что тут возможно власть спорить о тонкой дифференциации, например, между «роковым» и «экзистенциальным»; но во всяком случае понятно, на какие смысловые области авторы делят человеческое существование. В иерархию эти области в данном случае почти не выстроены (нет никаких поддающихся чёткой формулировке причин тому, что, скажем, «идейные» кульминации оказываются впереди «религиозных» и «символических», а «романтические» опережают «моральные»; но есть некоторая логика в том, что открывается этот список кульминациями «роковыми»: они, кажется, — кульминации, то есть переломные точки *par excellence*; а замыкают его кульминации, названные «финальными»). Кстати, конкретные кульминации, по крайней мере, некоторые из них, тоже могут быть без особенного сопротивления перемещаемы из одной ячейки в другую или, скажем, размещены в нескольких сразу. По всей вероятности, так устроено хотя бы уже затем, чтобы не давить живое системой. Но не только: такая нестрогость открывает возможности доработки предложенной системы, разрачивания её в разные стороны (кстати, сразу же приходит на ум эпштейновская — здесь же, в «Кульминации замысла» среди «креативных», описанная! — Книга книг, «расширяющаяся вселенная мысли». Это вообще любимая модель его мышления; по этой модели Эпштейн выстроил и «Проективный словарь гуманитарных наук»<sup>1</sup>, где, по собственным его словам, более четырёх сотен созданных им самим понятий «в разных дисциплинах» образуют такую вселенную, «пересекаясь и перекликаясь». Здесь ведь происходит нечто очень родственное: только в данном случае стоило бы, пожалуй, говорить о расширяющейся вселенной человеческого опыта).

С «Энциклопедией юности» эту книгу роднит не только автобиографичность и автофилософичность (это, в конце концов, родство вполне поверхностное), но именно открытость: каждая из здешних ячеек растяжима, подобно алфавитной, до бесконечности и способна бесконечно же заполняться. Они и так-то заполнены неплотно: каждый из авторов (а заполняют каждую ячейку они всегда оба) то всего-то две кульминации туда положит: скажем, в «идейные» Юрьенен — только кульминации «обиды» и «одиночества» (читатель сразу думает: уж обиду-то и одиночество не отнести к кульминациям экзистенциальным? — а это всё потому, что и ячейки подвижны, и содержание их), а то вдруг все шесть! — Эпштейн среди «символических» размещает кульминации и жизнестойкости, и владения собой, и веры в государство (а её — отчего бы не в «идейные?»), и цвета, и спортивных страстей, и сладости (а Юрьенен в той же смысловой нише опять обходится двумя: нумизматической и кульминацией боя). Но это всё для того, чтобы возможно было заполнять снова, и снова, и снова...

Не говоря уже о том, что сам список предложенных типов кульминаций наверняка тоже не исчерпывающий и вызывает к доработке и расширению. Во всяком случае — это не только превесьма захватывающее чтение. Да, это можно читать и как просто литературу — художественную, особенно те части, что написаны Юрьененом, у него очень сильна беллетристическая компонента, практически лишь она одна и есть — да разве ещё автобиографическая рефлексия; ему интересен — да, во многих типических чертах, продиктованных временем, средой, социальной ситуацией,

<sup>1</sup> Проективный словарь гуманитарных наук. — М: Новое литературное обозрение, 2017.

собственным темпераментом, наконец, — один-единственный случай: свой собственный, сфокусировавший в себе много-много пронизывающих его время и среду лучей — и всё-таки резчайше-индивидуальный. Эпштейн же — что и называю я автофилософичностью — посредством собственного, никак не менее индивидуального случая стремится выявить общечеловеческие черты, устройство человека как такового, увидеть свою единственную жизнь как путь к пониманию этого устройства. Это ещё и надёжно сплётённая сеть, пригодная для накидывания её каждым читателем на свою жизнь и выявления таким образом собственных её смыслов, которые так или иначе в предложенные ячейки помещаются. Это инструмент, тяготеющий к универсальности.

По полном же прочтении книги понимаешь ещё и то, что она наводит на очень важную мысль, бросающую свет на всё ныне обозреваемое троекнижие в целом, — и некоторая намеренная читательская безответственность даже позволяет эту мысль сформулировать. Вот она: очень похоже на то, что любая практика — но и не обязательно систематическая практика, это может быть и единичное, пиковое, «кульминационное» состояние — способна быть понятой — и осуществляемой — как философская. То есть — как концентрирующая человека вокруг самых главных вопросов, предшествующих всем его персональным координатам (пол, возраст, этнос, социальный статус...) и помогающая если и не найти на них ответы (тем более — окончательные, уж это вряд ли), то, во всяком случае, с некоторых незаменимых, только изнутри этой практики доступных сторон к этим ответам приблизиться. Ну, по крайней мере, увидеть сами вопросы (как, например, границы и взаимоотношения между «своим» и «чужим» в случае читательской практики). О переживаниях же кульминационных мы вправе сказать, что они резко и тем более властно ставят человека перед такими вопросами, заставляют их увидеть — и отпускают его уже с новыми ответами. По крайней мере — с возможностью их.

Практики — и состояния, достойные названия философских, — это то, что проблематизирует, ставит под вопрос человека как такового. То, что с помощью единственных, незаменимых жизненных обстоятельств человека показывает ему надындивидуальное, общезначимое.

Однако не то же ли относится и к (практикуемой человеком) жизни в целом? Она это тоже умеет.

Человек — *ens philosophans*, существо философствующее, и философствует он не головой только (это — частный, особенный и, может быть, не такой уж важный случай), но — всем собой в целом (и телом, да, как мы читали у Эпштейна). А сделает он из этого философию в её академическом или вообще так или иначе культурно устроённом варианте или нет — совершенно неважно.

*Борис Минаев*

## Похороны режиссёра

Несколько лет назад московский Театр.doc представил зрителю спектакль по пьесе Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В то время, как мне кажется, это была не самая громкая премьера театра. Она была успешной, но... Просто пьеса довольно сильно отличалась от формата Doc. В ней не использовался документальный материал (а драматургия Verbatim, то есть пьесы, написанные по мотивам реальных интервью и жизненных историй, была важнейшей идеей театра).

По большому счету, ее нельзя было назвать в прямом смысле социальной — а ведь именно такие пьесы о проблемах общества (нищета, социальное расслоение, положение мигрантов, социальные предрассудки, пропасть невежества, насилие) были фирменным знаком театра. Тут я могу вспомнить знаменитых «Соколов», о которых недавно писал в «Дружбе народов», «Синего слесаря», и относительно недавнюю пьесу Дмитрия Данилова «Что вы делали прошлым вечером?», и «Язычников», и многое, многое другое.

Пожалуй, единственным, что роднило спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», так сказать, с основным корпусом репертуара Театра.doc, был юмор. Юмор довольно едкий.

Некий провинциальный театр собирается поставить пьесу о последних днях сталинской эпохи. Прогон нового спектакля приурочен к юбилею главного режиссера. Всё очень торжественно. После первой сцены (а это, кстати, разговор охранников, который очевидным образом пародирует первую сцену из «Гамлета») — выходит режиссер и произносит монолог «для прессы» о том, какой смелый спектакль театр собирается показать. «Да, мы отдаем себе отчет, что пьеса не устроит ни правых, ни левых, ни тех, ни других, но нас это не остановит...» И так далее.

Интонация узнаваемая — сказать много и не сказать ничего.

Чиновник из министерства культуры, бесцветный человек в костюме, выходит с красной папочкой зачитывать «телеграмму от губернатора».

Но вот дальше начинается самое интересное. Пьесой заинтересовалось «первое лицо».

Был такой спектакль по пьесе (а вернее, даже по стихотворению) Юлия Кима — «Капнист туда и обратно» театра «Эрмитаж». Там пьесу драматурга восемнадцатого века смотрит Павел Первый — и по ходу того, как он смотрит, меняется судьба Василия Капниста, то его заковывают в кандалы, то, наоборот, награждают, но там был представленный театром «исторический анекдот», который пришелся ко времени,

тогда — в начале двухтысячных, а вот тут уже — совсем не анекдот. И совсем не исторический.

Пьесу об Иосифе Виссарионовиче «во время обеда» смотрит первое лицо государства («не волнуйтесь, трансляция уже идет», говорит бесцветный гусь в костюме) — и в зависимости от его выражения лица, от того, доел ли он десерт, от сдвига бровей и положения уголков рта — тут у нас, в нашем театре, меняется практически всё: и состав действующих лиц, и конфигурация ролей, и сам текст, и, так сказать, общая концепция.

Как говорится, история повторится.

Признаюсь, я смотрел на сцену (а Театр.doc теперь по иронии судьбы располагается рядом, дверь в дверь, с «музеем подпольной типографии газеты “Искра”») какими-то совершенно другими глазами, чем, наверное, смотрел бы ее раньше.

То, что раньше казалось смешным, теперь стало страшным.

То, что вызывало легкую улыбку, — вызывает злой гомерический хохот.

Легкость и юмор уступили место тяжести. Она стала главным компонентом спектакля.

Тяжесть узнавания, понимания, я бы сказал, тяжесть *пребывания* в этих, столь знакомых обстоятельствах всеобщего умолчания, вынужденного компромисса, общей усталости и какой-то невероятной, сошедшей с ума реальности.

Понятное дело, изменение общей концепции («Президент не доел десерт! Телеграмма губернатора отозвана и уничтожена! Премьеры в этом виде не будет!») — главному режиссёру нужно начинать с самой пьесы.

Возникает даже такой вопрос: а почему главный герой умирает, зачем вообще «нам» нужна эта тема смерти?

Впрочем, цензурные изъятия, споры о сталинизме и прочее, и прочее — не более чем театральный прием автора. Все «сцены из пьесы» — не более чем шутка, обманка, театральный капустник.

Главное в спектакле — сам театр. Режиссер, актеры, отношения внутри труппы, борьба самолюбий, истерики и интриги.

Внутренняя, так сказать, жизнь.

Конечно, далеко не вся публика, присутствующая в зале Театра.doc, в полном объеме представляет себе, насколько сейчас ужесточилась «внутривидовая» борьба внутри театральных коллективов, насколько острым стал выбор для каждого театрального человека: режиссера, худрука, драматурга и актера.

Да, театр — организм творческий, но при этом и социальный. Он стал очень зависим в последние годы от того, что происходит «снаружи». Зависим как никогда.

Исчезают театры, которые существовали десятки лет, они меняют названия, из них делают своеобразный «конструктор», присоединяя один к другому. С афиш убирают фамилии, придают совершенно иное направление репертуару: то, что было обращено к современности, становится площадкой для водевиля, легкой комедии, абстрактного бурлеска.

Исчезают даже фамилии создателей (последний пример — театр Виктюка), то есть, коротко говоря, исчезает привычный театральный ландшафт и вместо него появляется какой-то другой.

...Мы в итоге так и не узнаем, что в конце концов стало с пьесой об Иосифе Виссарионовиче, какой Сталин там показан и будет ли там хоть что-то о его смерти.

Но зато мы подробнейшим образом изучим саму механику «сдачи в плен», капитуляции и компромисса.

«**Сталин.** (*Обходит Терентия, сидящего на стуле.*) Блестящая пьеса, Терентий! Великолепная! Но надо сократить в три раза и написать другое начало. И всё! (*Терентий порывается бежать, Хрущёв и Берия его останавливают.*) До премьеры три недели. А до них было два года работы, ожиданий, мечтаний... Терентий, ты что, предашь два года своей жизни? Ты же разумный человек. Издашь ты свою пьесу в полном виде. Я предисловие напишу. Поставишь в другом театре в полном виде — я помогу. А здесь... Как человека даровитого хочу тебя спросить: почему в пьесе столько всего есть, а сцены с мамой нету?»

Сталин — это, понятное дело, главный режиссер, он же исполнитель главной роли (актер Александр Калугин). В режиссуре Юрия Муравицкого — это ключевой персонаж, воплощение и всей современной культуры, да, пожалуй, и в целом — воплощение главенствующего ныне человеческого типажа. Человек подвижный, эмоциональный, яркий, умеющий перевоплощаться (то, как он по ходу пьесы перевоплощается в «вождя народов» — основной фокус и основной театральный аттракцион), но самое главное — *человек приспособляемый*.

Нет, не homo soveticus, и нет, не раб потребления, раб желудка или привычек, нет, не раб каких-то прежних стереотипов, напротив, — Вольдемар Аркадьевич, он же Сталин — абсолютно сегодняшняя, сугубо творческая, интуитивная, почти гениальная личность. И спасает он не свою презренную шкуру — нет, он спасает Дело с большой буквы, спасает работу, спасает традицию, спасает культуру, спасает Смысл с большой буквы, спасает театр, он ведь жить без него не может!

...В последнее время я довольно часто говорю с разными людьми про то, что помогает им жить. Ответ почти всегда один — работа. Профессия. Творческие, научные, профессиональные задачи, которые не зависят от сегодняшней конъюнктуры.

Уйти в работу. Сделать нечто стоящее. Посеять в очередной раз семена разумного, доброго, вечного. Работать для будущих поколений. Делать добро. Заниматься просвещением. Ну и так далее. А иначе зачем жить здесь и сейчас?

Пьеса Артура Соломонова в постановке Юрия Муравицкого (актеры Александр Калугин, Ефим Михайлов, Анастасия Лебедева, Владимир Гасанов, Антон Ильин, Марина Ганах, Виктор Кузин, Алексей Губкин, Михаил Руденко, художник по костюмам Александр Петлюра) — довольно понятно и ненавязчиво рассказывает о том, что и в этой привычной для всех нас моральной максиме есть свой, мягко говоря, изъян. Своя ловушка. Своя дорога в ад, вымощенная благими намерениями.

Что от этого мира — никуда нам не деться.

Что он придет и возьмет свое.

То, что эта непростая философская задача решается с помощью комедии, фарса, водевиля, — делает ее решение еще более изящным и эстетически цельным. Я бы сказал, необратимым.

Режиссер становится Сталиным, выкидывает из пьесы персонажей, перекраивает текст, стравливает актеров и особенно актрис, запирает драматурга в театре, на чердаке, практически в нечеловеческих условиях, устраивает осадное положение, отчаянно пытается спасти премьеру, но главное не в этом.



Главное в том, что к концу представления он и сам не понимает (и мы вместе с ним) — а ради чего?

Ради чего жертвовать репутацией?

Ради чего уступать под прессом невнятной цензуры и непонятных ограничений?

Ради чего *всё это*?

Что мы спасаем? Какой театр? Какое дело?

«Хрущёв. Мы так мечтали об этих ролях...

**Сталин** (*с грузинской интонацией*). Театр — это империя. Что такое одна маленькая актёрская судьба в сравнении с судьбой целого театра? Решение принято. Ваши таланты понадобятся в будущем. Сейчас не время».

...Кстати, в этой моральной максиме есть ответы, которые меня лично вполне устроили бы: компромисс может быть просто ради спасения жизни, ради зарплаты (то есть хлеба насущного), ради крыши над головой, ради здоровья близких.

Но спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — он совсем о другом. О безудержности наших творческих амбиций. О неумении честно оценить себя, отнестись с юмором к грандиозности своих планов.

О трезвости и честном взгляде на мир. И в этом смысле он совсем не устарел. Скорее, наоборот.

# Summary

## **Evgenij Kaminskij. The Piglet, the Cockerel and All This Horror**

On his way to the Black Sea resort one eminent metropolitan writer with his wife stayed with her brother in some Kuban stanitsa and to his astonishment discovered that the local people not only didn't read the books of the glorifier of the Russian Land but even didn't hear his name. To crown this disgrace the host's cockerel attacks him with satanic cock-a-doodling. Offended by the villagers who do not need his reasoning about the role of culture in their lives the writer harbors the plan of revenge. But essentially the story is not about this. It's about the conscience, involuntary betrayal and responsibility – at least to the pets taken to the house to escape from loneliness.

## **Poetry**

**Andrey Famitskij** is meditating over the pain points of the modern life and about the compassion. In **Igor Kasko's** poems there is the same concern for the future of humanity but also the hope that "maybe tomorrow the black star will fade, the light will flare up again and the world will revive". The lyrics of **Varvara Zabortseva** is dedicated to the Russian North with which the author is bound by spiritual and blood relationships. The Kazakh poet **Aygerim Taji's** verses are about her love to her native city Almaty and her childhood.

## **Twenty Five Paper Letters from Valentin Kurbatov to Dmitrij Shevarov**

"We'll never be *simple* again, we'll never be those dear children of Nature who kept the life. That's why the wars have become so easy, *alien to the conscience* – like if the humans are perishing not for the first time and the floods of blood are not real. The life in general becomes more superficial, lighter and hollower". Under the heading "The Life in the Literature" we present selected letters from V. Kurbatov to D. Shevarov.

## **The Golden Pages of "DN". Tonino Guerra. The Ashes**

...Prayer. Game. Candles. The flight of the butterfly. A cherry tree in blossom. The screeching of the rusty iron. The sounds of the violin. The mirror in which the shadows of the killed world are reflecting... "The Earth planet is a balloon covered with the ashes and debris" after the nuclear explosions. Those who have survived are settling in the undergrounds of the late skyscrapers. This little masterpiece of Tonino Guerra presents a chain of miniatures: the ancient epic, poems and films encased into inhale and exhale.

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»  
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**  
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте  
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»  
Москва, ул. Тверская, 17  
(вход с Малого Гнездиковского переулка)

*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

*Корректурa: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ*

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



## По страницам «ДН»

*... Говорилось так: «Мы должны сначала победить. Сейчас не время для полной правды. Мы займёмся ею позже, когда выиграем войну, ибо тогда необходимо будет гарантировать мир». Таким образом, ведение войны тщательно отделяется от победы в ней, завершение войны — от заключения мира... И лишь потом общество собирается перейти к тому, чтобы гарантировать мир. При этом упускают из виду, что именно во время войны разворачиваются те глубокие социальные потрясения, которые сметают старые институты, изменяют людей, и тем самым в опустошении войны созревают зачатки мира. Стремление людей к миру никогда не бывает столь сильным, как во время войны. Ни в каком другом состоянии общество не подаёт столь мощные импульсы к изменению отношений, приведших к войне. Человек научился строить плотины, страдая от наводнений. Мир может быть построен только в ходе войны, сейчас и сразу...*

**Вильгельм Райх. «Неспособность к свободе».**

*Из книги «Массовая психология фашизма» (1933).*

*С немецкого. Перевод Владимира Закса*

**«ДН», 1994, №10**



## **ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ДН» за лучшую публикацию в 2023 году**

### **РОМАН**

**Анна Маркина. Кукольня. Роман. № 12**

### **ПРОЗА.DOC**

**Мария Габрилович. Объяснение в любви. № 11**

### **ПОВЕСТЬ**

**Олег Зоберн. Бесермяне. Повесть о малом народе. № 3**

### **РАССКАЗ**

**Евгений Чижов. Боль. Рассказ. № 3**

### **ПОЭЗИЯ**

**Сергей Попов. Прежний чертёж. Стихи. № 5**

### **ДЕБЮТ В ДН**

#### **проза:**

**Дарья Андреева. Два рассказа. № 4**

#### **поэзия:**

**Мирослава Бессонова. Словесный рой. Стихи. № 4**

**Люди ходят по воде. Стихи. № 8**

### **НАЦИЯ И МИР**

**Ольга Липко. Волонтёрка, или Моё место на Земле. № 8**

### **МОЯ МАЛАЯ РОДИНА**

**Барвара Заборцева. О реке Цинеге. № 9**

### **ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**Сергей Рязанцев. Не знали наши папы. Повесть. № 8**

### **КРИТИКА**

**Александр Марков. Слеза времени и апеллесова черта. № 10**

**Мир состоявшихся катарсисов. № 11**

**Сверхнадёжные рассказчики № 12**

### **ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ**

**Павел Пепперштейн. Стихи и рисунки Иры Пивоваровой, моей мамы. № 10**

### **Выбор АСПИР**

**Анна Маркина. Кукольня. Роман. № 12**

### **Выбор Литинститута – за перевод**

**Константин Гадаев. Перевод стихотворений Амурхана Кибирова. № 7**

